

НАБОКОВ

ВЕСНА В ФИЛАЛЪТЕ

ВЛАДИМИР
НАБОКОВ

ВЕСНА
В ФИЛАЛЪТЕ

ARDIS / ANN ARBOR

Ardis



ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ВЕСНА

В ФИАЛЪТЕ

ARDIS / ANN ARBOR

Copyright © 1956 by Vladimir Nabokov

Ardis reprint of the first edition, 1978.

ISBN 0-88233-383-6 (cloth)

ISBN 0-88233-384-4 (paper)

Ardis Publishers, 2901 Heatherway

Ann Arbor, Michigan 48104.

ВЕЩА В ФИАЛЬТЕ

Собрание рассказов и повестей, Том 3

Весна в Фиальте

Весна в Фиальте облачна и скучна. Всё мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года, примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в амethystовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково; никак не могут вспениться неповоротливые волны.

Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая всё: и прилавки с открытками, и витрину с распятиями,

и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсинную корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики. Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя вмятое, звучание Ялты; потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!

Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем, паровозном, азарте норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а всё-таки вне меня, систему счастья.

Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него всё отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый

продавец сложных, с лунным отливом, сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла, и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как всё во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего! Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи; я всё понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море, и ревнивый блеск взерошенных бутылочных осколков по верху стены (за ней штукатурная гордость местного богатея), и объявление цирка, на эту стену наклеенное; пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одуроченные слоны.

Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, за одно со всем прочим, впитывая и его, я заметил, как, в сторону скользнув большим аквамаринovým глазом с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину.

Всякий раз, когда мы встречались с ней, за всё время нашего пятнадцатилетнего... назвать в точности не берусь: приятельства? романа?.. она как бы не сразу узнавала меня; и ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства, приветливой неуверенности... и вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми десятью пальцами в воздухе, и посреди улицы, с откровенной пылкостью давней дружбы (с той же лаской, с какой быстро меня крестила, когда мы расставались), всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, вися на мне, прилаживая путем прыжка и глissады к моему шагу свой, в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени.

— Фердинандушка здесь, как же, — ответила она и тотчас в свою очередь вежливоенько и весело осведомилась о моей жене.

— Шатается где-то с Сегюром, — продолжала она о муже, — а мне нужно кое-что купить, мы сейчас уезжаем. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька?

Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя всё накопление действия сначала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание (перечнем, с виньетками от руки крашенными, всех прежних за-

слуг судьбы), знай я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом.

Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом, должно быть, судя по тем местам, где время износилось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее Лужском имени, чистой деревенской зимой (как помню первый знак приближения к нему: красный амбар посреди белого поля). Я только что кончил лицей; Нина уже обручилась: ровесница века, она, несмотря на малый рост и худобу, а может быть благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же, как в тридцать два казалась на много моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец собой, тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней; словом, один из тех людей, всё мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность (прекрасный товарищ, идеал секунданта), и которые, если уже влюбляются, то не просто любят, а боготворят, успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала.

Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине,

ничком на темный, толстый снег; ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев; но воспоминание только тогда приходит в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте; передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание; елки молча торговали своими голубоватыми пирогами; оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас привлеченная моим чертыханием, с торопящимся, оживленно тихим, смешное предвкушающим смехом, Нина проворно повернулась ко мне. Я зову ее Нина, но тогда едва ли я знал ее имя, едва ли мы с нею успели что-либо, о чем-либо... «Кто это?» — спросила она любознательно, а я уже целовал ее в шею, гладкую и совсем огненную за шиворотом, накаленную лисьим мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам не приладила, с честной простотой, ей одной присущей, своих отзывчивых, исполнительных губ.

Но взрывом веселья мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул сугроб; произвел ампутацию валенка. И потом до самого разъезда так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, в даль уже тронувшихся, пятнадцати дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных встреч, и следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер (его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему, вечерам, но без Нины), я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания, ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием, точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни.

— Последний раз мы виделись, кажется, в Париже, — заметил я, чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами; и действительно: она так усмехнулась; как будто я плбско пошутил или, подробнее, как будто все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть буафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то

других доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно.

Я сопровождал ее в случайную лавку под аркадами; там, в бисерной полутьме, она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст; затем потребовала непременно такого же, но коричневого, и когда, после десятиминутного шелеста, именно такой чудом отыскался, она было взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив.

Улица была всё такая же влажная, неоживленная; чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли; двое рабочих в широких шляпах, закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в стремлении сделать его как можно свирепее художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое.

— Au fond, я хотела гребенку, — сказала Нина с поздним сожалением.

Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета! Она всегда или только что приехала или сейчас уезжала. Если бы

мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, раздумывает вместе с ней над планом спального вагона.

В первый раз за границей я встретил ее в Берлине, у знакомых. Я собирался жениться; она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издали и машинально, но безошибочно, определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое, удобное тело в виде зета; у каблучка стояла на диване пепельница; и всмотревшись в меня, и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: «Нет!» (в значении «глазам не верю»), и сразу всем показалось, ей первой, что мы в давних приятельских отношениях: поцелуя она не помнила вовсе, но зато (через него всё-таки) у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного; воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тороватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас, и, оказавшись с ней

рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения.

Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену, и когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушел, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона парижского экспресса я увидел Нину, окунувшую лицо в розы, среди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство, найденныша или раненого, то-есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины, между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то, в синей тени вагона, был впервые упомянут Фердинанд: я узнал, что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, вошла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купэ, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, покуда она не очнулась опять, по стеклу барабана, затем вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось; кто-то помог ей, и она

высунулась, страшно довольная; один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и Таухниц (по-английски она читала только в поезде), всё ускользало прочь с безупречной гладкостью, и я держал скомканный до неузнаваемости перонный билет, а в голове назойливо звенел, Бог весть почему выплывший из музыкального ящика памяти, другого века романс (связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви), который певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно-полным голосом, что он как огненное облако поглощал ее всю, как только она начинала:

on dit que tu te maries,
tu sais que j'en vais mourir,

и этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопроводивший воспоминание, как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом еще возникали с растущими перерывами, как последние, всё реже и всё рассеянное приплескивающие, плоские, мелкие волны или как слепые содрогания слабеющего била, после того как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два был я по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней:

собиралась вниз, держала ключ в руке. «Фердинанд фехтовать уехал», — сказала она непринужденно, и посмотрев на нижнюю часть моего лица, и про себя что-то быстро обдумав (любовная сообразительность была у нее бесподобна), повернулась и меня повела, вилля на тонких лодыжках, по голубому бобрику, и на стуле у двери ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды, но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосался и застрял волан белыми далиями вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, вышедшего на узенький чугунный балкон, и лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески; а немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневатой сизостью, бензином, осенним кленовым листом: да, всё случилось так просто, те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчевое слово: измена; и так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел (уж она-то наверное была весела), когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж.

Не называю фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя... мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит не я один противился его демонскому обаянию; не я один испытывал офиологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения, а уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя; я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам.

О ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны; поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением. В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной про-

зы различить какой-то сад, какое-то сонно-знакомое расположение деревьев... но с каждым годом роспись становилась всё гуще, розовость и лиловизна всё грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал, каким бичом хлестал, если его задевали! После вихря своего прохождения он оставлял за собой голую гладь, где ровнехонько лежал бурелом, да вился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся во прахе. Гремел тогда по Парижу его «Passage à niveau», он был очень, как говорится, окружен, и Нина (у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования) уже вошла в роль, я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца; даже более: тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр; я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы, а затем тотчас увидел составной стол, за которым, посреди долгой стороны и спиной к плюшу, председательствовал Фердинанд, и на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью...

что именно напомнили, я сам тогда не понял, а потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку; на нем был под каштановым пиджаком белый вязаный свѣтер с высоким сборчатым воротом; над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале; костистое и, как это принято определять, породистое лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведениям очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе: оркестр из полудюжины прядущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших (так мне казалось) первое сомнение в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были: живописец с идеально голый, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины (Саломея с кегельным шаром); и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст; и очень известный пианист, так с лица ничего, но с

ужасным выражением пальцев; и молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал; сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое, трое, наверное, погуляли с Ниной. Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстрой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я наконец поймал ее взгляд, который упорно ловил, всё еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром; настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой, и, только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув, как мебель, инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком, с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середке вместе с усами образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости.

Я в Париже пробыл недолго, но за три дня совместного валандания у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен: моя фирма купила у него фабулу для фильма, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти десять

лет мы и на ты перешли, и оставили в двух-трех пунктах небольшие депо общих воспоминаний... Но мне всегда было не по себе в его присутствии, и теперь, узнав, что и он в Фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил; только одно ободряло меня: недавний провал его новой пьесы.

И вот уж он шел к нам навстречу, в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гутаперчей, сося невозмутимо (а всё же с оттенком смотрите-какое-сосу-смешное) длинный леденец лунного блеска, специальность Фиальты. Рядом с ним чуть пританцовывающей походкой шел Сегюр, хлыщеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими иссиня-черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак; он на что-то был Фердинанду нужен (Нина, при случае, с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала: «душка такой, Сегюр», но в подробности не вдавалась). Они подошли, мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, всё, но делая вид, что это только начало; так у нас водилось всегда: после обычной разлуки мы встречались под аккомпанимент взволнованно настраиваемых струн, в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств; но капельдинеры закрывали двери, и уж больше никто не впускался.

Сегюр пожаловался мне на погоду, а я даже спер-

ва не понял, о какой погоде он говорит: весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность Фиалты если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, всё с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!», вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем; мы остановились, чтобы его подождать: присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажей, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет: каменное подобие горы св. Георгия с черным туннелем у подножия, оказывавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов жолобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатил не торгуясь, и, всё еще с открытым ртом, вышел, неся уroda. Как деспот окружает себя горбунами и карлами, он пристрачивался к той или

другой безобразной вещи, это состояние могло длиться от пяти минут до нескольких дней, и даже дольше, если вещь была одушевленная.

Нина стала мечтать о завтраке и, улучив минуту, когда Фердинанд и Сегюр зашли на почтамт, я поторопился ее увести. Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая узкоплечая женщина, с пушкинскими ножками (как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный, один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически), а еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу: пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды, по случайному поручению зайдя к незнакомым людям, я увидел среди пальто на вешалке (у хозяев были гости) ее шубку. В другой раз она кивнула мне из книги мужа из-за строк, относившихся к эпизодической служанке, но приютивших ее (вопреки, быть может, его сознательной воле): «Ее облик, — писал Фердинанд, — был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом, так что припоминая его, вы ничего не удерживали, кроме мелькания разъединенных черт: пушистых на свет выступов скул, янтарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую

ушмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй». Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст. Раз, когда моя семья была на даче, а я писал, лежа в постели, в мучительно солнечную пятницу (выколачивали ковры), я услышал ее голос в прихожей: заехала, чтобы оставить какой-то в дорожных орденах сундук, и я никогда не дописал начатого, а за ее сундуком, через много месяцев, явился симпатичный немец, который (по невыразимым, но несомненным признакам) состоял в том же, очень международном, союзе, в котором состоял и я. Иногда, где-нибудь, среди общего разговора, упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей, она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первой ночи, мной проведенной там: как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне, но она не пришла, и как бесновались сверчки в орошенной луной, дрожащей бездне скалистого сада, как журчали источники, и как я разрывался между блаженной, южной, дорожной усталостью и дикой жадой ее вкрадчивого прихода, розовых щиколок над лебяжьей опушкой туфелек, но гремела ночь, и она не пришла, а когда на другой день, во время общей прогулки по вересковым холмам, я рассказал ей о своем ожидании, она всплеснула руками от огорчения и сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда

и его приятеля. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая ее лающего голоска, когда она позвонила мне по делу мужа: и помню, как однажды она снилась мне: будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там, в проходе, на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и замотанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят нищие переселенцы на Богом забытых вокзалах. И что бы ни случилось со мной или с ней, а у нее тоже, конечно, бывали свои семейные «заботы-радости» (ее скороговорка), мы никогда ни о чем не расспрашивали друг дружку, как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы, так что, когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном, времени, измерявшемся не разлуками, а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо легкая жизнь. И с каждой новой встречей мне делалось тревожнее; при этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал, ни тени трагедии нам не сопутствовало, моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной, а с другой стороны Фердинанд (сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу) предпочитал на жену не оглядываться, хотя, может быть, извлекал косвенную и почти невольную выгоду из ее быстрых связей. Мне делалось тревожно, оттого что

попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные крупички и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шопотом обещало оно. Мне было тревожно, оттого что я как-никак принимал Нинину жизнь, ложь и бред этой жизни. Мне было тревожно, оттого что, несмотря на отсутствие разлада, я всё-таки был вынужден, хотя бы в порядке отвлеченного толкования собственного бытия, выбирать между миром, где я как на картине сидел с женой, дочками, доberman-пинчером (полевые венки, перстень и тонкая трость), между вот этим счастливым, умным, добрым миром... и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва вообразимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого? Глупости, глупости! Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбой... Глупости! Так что же мне было делать, Нина, с тобой, куда было сбыть запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч!

Фиальта состоит из старого и нового города; но между собой новый и старый переплелись... и вот борются, не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои приемы: новый борется честно пальмовой просадью, фасадом меняльной конторы, красным песком тенниса, старый же

из-за угла выползает улочкой на костылях или па-
пертью обвалившейся церкви. Направляясь к гости-
нице, мы прошли мимо еще недостроенной, еще пу-
стой и сорной внутри, белой виллы, на стене которой:
опять всё те же слоны, расставя чудовищно-младен-
ческие колени сидели на тумбищах; в эфирных пачках
наездница (уже с надрисованными усами) отдыхала
на толстом коне; и клоун с томатовым носом шел по
канату, держа зонтик, изукрашенный всё теми же звез-
дами: смутное воспоминание о небесной родине цир-
качей. Тут, в бель-этаже Фиальты, гораздо курортнее
хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое
уханье моря. На заднем дворе гостиницы поваренок
с ножом бежал за развившей гоночную скорость ку-
рицей. Знакомый чистильщик сапог с беззубой улыб-
кой предлагал мне свой черный престол. Под плата-
нами стояли немецкой марки мотоциклетка, старый
грязный лимузин, еще сохранивший идею каретности,
и желтая, похожая на жука, машина: «Наша, то-есть
Сегюра, — сказала Нина, добавив: — поезжай-ка ты,
Васенька, с нами, а?», хотя отлично знала, что я не могу
поехать. По лаку надкрыльников пролег гуаш неба и
ветвей; в металле одного из снарядоподобных фона-
рей мы с ней сами отразились на миг, проходя по
окату, а потом, через несколько шагов, я почему-то
оглянулся и как бы увидел то, что действительно про-
изошло через полтора часа: как они втроем усажива-
лись, в автомобильных чепцах, улыбаясь и помахивая
мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден

цвет мира, и вот дернулись, тронулись, уменьшились (Нинин последний десятипалый привет): но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий и целый, как яйцо, а Нина со мной входила на стеклянную веранду отельного ресторана, и через окно мы уже видели, как (другим путем, чем пришли мы) приближаются Фердинанд и Сегюр.

На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мной англичанина; на столике перед ним стоял большой стакан с ярко алым напитком, бросавшим овальный отсвет на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах то же упрямое вождение, которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине, на нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел.

Содрав с маленьких сухощавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела моллюски, которые так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ним: именно я упомянул о недавней его неудаче. Пройдя небольшой период модного религиозного прозрения, во время которого и благодать сходила на него, и предпринимались им какие-то сомнительные паломничества, завершившиеся и вовсе скандальной историей, он обратил свои темные глаза на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что крайность в искусстве находится в некой метафизической связи

с крайностью в политике, при настоящем соприкосновении с которой изысканнейшая литература, конечно, становится, по ужасному, еще мало исследованному свиному закону, такой же затасканной и общедоступной серединой, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, еще не действовал: мускулы его музы были еще слишком крепки (не говоря о том, что ему было наплевать на благосостояние народов), но от этих озорных узоров, не для всех к тому же вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что касается пьесы, то никто ничего не понял в ней; сам я не видел ее, но хорошо представлял себе эту гиперборейскую ночь, среди которой он пускал по невозможным спиральям разнообразные колеса разъятых символов; и теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе.

— Критика! — воскликнул он. — Хороша критика! Всякая темная личность мне читает мораль. Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату. Их разбирают со всех точек зрения, кроме существенной. Вроде того, как если бы натуралист, толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках или Mme de V. (он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь). Я тоже хочу этой голубиной крови, — продолжал он тем же громким, рвущим голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста, бесцеремонно указывавшего на стакан

англичанина. Сегюр упомянул имя общего знакомого, художника любившего писать стекло, и разговор принял менее оскорбительный характер. Между тем англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул, оттуда шагнул на подоконник и, выпрямившись во весь свой громадный рост, снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой.

— ...это, как белая лошадь Вувермана, — сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сегюром.

— Tu es très hiprique ce matin, — заметил тот.

Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно виртуозно снабжал их, на любое расстояние, дружеским теплом, когда надобно было, как например сейчас, заручиться даровым ночлегом.

Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов: проходило рекламное шествие; но мы не застали его начала, так как оно завернуло вверх, в боковую улочку: удалялся золоченый кузов какой-то повозки, человек в бурнусе провел верблюда, четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади, на очень маленьком пони с очень большой чолкой, благоговейно сидел частный мальчик в матроске.

Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но всё еще пустой, кофейни; официант осматривал (и,

быть может, потом приголубил) страшного подкидыша: нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще: нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх, и я смотрел на острый угол Нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а теперь узость, она поднималась по седым ступеням; от нее шло знакомое тепло, и, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу, на званом вечере в парижском доме, где было очень много народу, и мой милый друг Jules Darboux, желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря: «Я хочу тебя познакомить...», и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись зетом, с пепельницей у каблочки, и Нина отняла от губ длинный бирюзовый мундштук и радостно, протяжно произнесла: «Нет!», и потом весь вечер у меня разрывалось сердце, и я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее (она на меня не глядела), слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил: «смешно, как они одинаково пахнут, горелым сквозь духи, все эти сухие хорошенькие шатеночки», и, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвилась вокруг воспоминания, питаюсь его грустью.

Поднявшись по лестнице, мы очутились на щербатой площадке: отсюда видна была нежно-пепельная гора св. Георгия с собранием крапинок костяной бе-

лизны на боку (какая-то деревушка); огибая подножье, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся; еще ниже виден был за разнобоям крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый черный кончик акварельной кисти; справа виделось море, серое, в светлых морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ, и на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой-то проволоки... я подумал о том, что некогда тут была жизнь, семья вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, как будто слушая что-то; Нина, стоявшая выше, положила руку ко мне на плечо, улыбаясь и осторожно, так чтобы не разбить улыбки, целуя меня. С невыносимой силой я пережил (или так мне кажется теперь) всё, что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот; и я сказал, наше дешевое, официальное *ты* заменяя тем одухотворенным, выразительным *вы*, к которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом: «А что, если я вас люблю?» Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить... но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение, и она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась; мне тоже стало неловко... «Я пошутил, пошутил», — поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескоры-

стно пахучих фиалок, и, прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета, и всё было попрежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотолe, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, всё растворялось в нем, всё исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка, причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась всё-таки смертной.

Париж, 1938 г.

Круг

Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. В-третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней молодости — и всего связанного с нею — злости, неуклюжести, жара, — и ослепительно-зеленых утр, когда в роще можно было оглохнуть от иволог. Сидя в кафе и всё разбавляя бледнеющую сладость струей из сифона, он вспомнил прошлое со стеснением сердца, с грустью — с какой грустью? — да с грустью, еще недостаточно исследованной нами. Всё это прошлое поднялось вместе с поднимающейся от вздоха грудью, — и медленно восстал, расправил плечи покойный его отец, Илья Ильич Бычков, *le maître d'école chez nous au village*, в пышном черном галстуке бантом, в чесучевом пиджаке, по-старинному высоко застегивающемся, зато и расходящемся высоко, — цепочка поперек жилета, лицо красноватое, голова лысая, однако подернутая чем-то вроде нежной шерсти, какая бывает на вешних рогах

у оленя, — множество складочек на щеках, и мягкие усы, и мясистая бородавка у носа, словно лишний раз завернулась толстая ноздря. Гимназистом, студентом, Иннокентий приезжал к отцу в Лешино на каникулы, — а если еще углубиться, можно вспомнить, как снесли старую школу в конце села и построили новую. Закладка, молебен на ветру, К. Н. Годунов-Чердынцев, бросающий золотой, монета влипает ребром в глину... В этом новом, зернисто-каменном здании несколько лет подряд — и до сих пор, т. е. по зачислении в штат воспоминаний — светло пахло клеем; в классах лоснились различные пособия — например, портреты луговых и лесных вредителей... но особенно раздражали Иннокентия подаренные Годуновым-Чердынцевым чучела птиц. Извольте заигрывать с народом. Да, он чувствовал себя суровым плебеем, его душила ненависть (или казалось так), когда, бывало, смотрел через реку на заповедное, барское, кондовое, отражающееся черными громадами в воде (и вдруг — молочное облако черемухи среди хвой).

Новая школа строилась на самом пороге века: тогда Годунов-Чердынцев, возвратясь из пятого своего путешествия по Центральной Азии, провел лето с молодой женой — был ровно вдвое ее старше — в своем петербургском имении. До какой глубины спускаешься, Боже мой! — в хрустально-распльвчатом тумане, точно всё это происходило под водой, Иннокентий видел себя почти младенцем, входящим с отцом в усадьбу, плывущим по дивным комнатам, —

отец движется на цыпочках, держа перед собой скрипучий пук мокрых ландышей, — и всё как будто мокро: светится, скрипит и трепещет — и ничего больше нельзя разобрать, — но это сделалось впоследствии воспоминанием стыдным — цветы, цыпочки и вспотевшие виски Ильи Ильича стали тайными символами подобоострастия, особенно когда он узнал, что отец был выпутан «нашим барином» из мелкой, но прилипчивой, политической истории — угодил бы в глушь, кабы не его заступничество.

Таня говаривала, что у них есть родственники не только в животном царстве, но и в растительном, и в минеральном. И точно: в честь Годунова-Чердынцева названы были новые виды фазана, антилопы, рододендрона, и даже целый горный хребет (сам он описывал главным образом насекомых). Но эти открытия его, ученые заслуги и тысяча опасностей, пренебрежением к которым он был знаменит, не всех могли заставить относиться снисходительно к его родовитости и богатству. Не забудем, кроме того, чувств известной части нашей интеллигенции, презирающей всякое неприкладное естествоиспытание и потому упрекавшей Годунова-Чердынцева в том, что он интересуется «Лоб-норскими козявками» больше, чем русским мужиком. В ранней юности Иннокентий охотно верил рассказам (идиотическим) о его дорожных наложницах, жестокостях в китайском вкусе и об исполнении им секретных правительственных поручений, в пику англичанам... Его реальный образ оставался смутным:

рука без перчатки, бросающая золотой (а еще раньше — при посещении усадьбы — хозяин смешался с голубым калмыком, встреченным в зале). Засим Годунов-Чердынцев уехал в Самарканд или в Верный (откуда привык начинать свои прогулки); долго не возвращался, семья же его, повидимому, предпочитала крымское имение петербургскому, а по зимам жила в столице. Там, на набережной, стоял их двухэтажный, выкрашенный в оливковый цвет особняк. Иннокентию случалось проходить мимо: помнится, в цельном окне, сквозь газовый узор занавески, женственно белелась какая-то статуя, — сахарно-белая ягодица с ямкой. Балкон поддерживали оливковые круторебрые атланты: напряженность их каменных мышц и страдальческий оскал казались пылкому восьмикласснику аллегорией поработенного пролетариата. И раза два, там же на набережной, ветренной невской весной, он встречал маленькую Годунову-Чердынцеву, с фокс-терьером, с гувернанткой, — они проходили как вихрь, — но так отчетливо, — Тане было тогда, скажем, лет двенадцать, — она быстро шагала, в высоких зашнурованных сапожках, в коротком синем пальто с морскими золотыми пуговицами, хлеща себя — чем? — кажется, кожаным поводком по синей в складку юбке, — и ледоходный ветер трепал ленты матросской шапочки, и рядом стремилась гувернантка, слегка поотстав, изогнув каракулевый стан, держа на отлете руку, плотно вделанную в курчавую муфту.

Он жил у тетки (портнихи) на Охте, был угрюм,

несходчив, учился тяжело, с надсадом, с предельной мечтой о тройке, — но неожиданно для всех с блеском окончил гимназию, после чего поступил на медицинский факультет; при этом благоговение его отца перед Годуновым-Чердынцевым таинственно возросло. Одно лето он провел на кондиции под Тверью; когда же, в июне следующего года, приехал в Лешино, узнал не без огорчения, что усадьба за рекой ожила.

Еще об этой реке, о высоком берегу, о старой купальне: к ней, ступеньками, с жабой на каждой ступеньке, спускалась глинистая тропинка, начало которой не всякий отыскал бы среди ольшаника за церковью. Его постоянным товарищем по речной части был Василий, сын кузнеца, малый неопределимого возраста — сам в точности не знал, пятнадцать ли ему лет или все двадцать — коренастый, корявый, в золотых брючках, с громадными босыми ступнями, окраской напоминающими грязную морковь, и такой же мрачный, каким был о ту пору сам Иннокентий. Гармониками отражались сваи в воде, свиваясь и развиваясь; под гнилыми мостками купальни журчало, чмокало; черви вяло шевелились в запачканной землей жестянке из-под монпансье. Натянув сочную долю червяка на крючок, так, чтобы нигде не торчало острие, и сдобрив молодца сакраментальным плевком, Василий спускал через перила отягощенную свинцом лесу. Вечерело; через небо протягивалось что-то широкое, перистое, фиолетово-розовое, — воздушный краж с отрогами, — и уже шныряли летучие мыши —

с подчеркнутой беззвучностью и дурной быстротой перепончатых существ. Между тем рыба начинала клевать, — и, пренебрегая удочкой, попросту держа в пальцах лесу, натуженную, вздрагивающую, Василий чуть-чуть подергивал, испытывая прочность подводных судорог, и вдруг вытаскивал пескаря или плотву; небрежно, даже с каким-то залихватским хрустом, рвал крючок из маленького, круглого, беззубого рта рыбы, которую затем пускал (безумную, с розовой кровью на разорванной жабре) в стеклянную банку, где уже плавал, выпятив губу, бычок. Особенно же бывало хорошо в теплую пасмурную погоду, когда шел незримый в воздухе дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися кругами, среди которых там и сям появлялся другого происхождения круг, с внезапным центром, — прыгнула рыба или упал листок, — сразу, впрочем, поплывший по течению. А какое наслаждение было купаться под этим теплым ситником, на границе смешения двух однородных, но по-разному сложенных, стихий — толстой речной воды и тонкой воды небесной! Иннокентий купался с толком и долго потом растирался полотенцем. Крестьянские ребяташки, те барахтались до изнеможения, — наконец выскакивали — и, дрожа, стуча зубами, с полоской мутной сопли от ноздри ко рту, натягивали штаны на мокрые ляжки.

В то лето он был еще угрюмее обычного и с отцом едва говорил, — всё больше отбуркиваясь и хмыкая. Со своей стороны Илья Ильич испытывал в его

присутствии странную неловкость, — особенно потому, что полагал, с ужасом и умилением, что сын, как и он сам в юности, живет всей душою в чистом мире нелегального. Комната Ильи Ильича: пыльный луч солнца; на столике, — сам его смастерил, выжиг узор, покрыл лаком, — в плюшевой рамке фотография покойной жены, — такая молодая, в платье с бертами, в кушаке-корсетике, с прелестным овальным лицом (овальность лица в те годы совпадала с понятием женской красоты); рядом — стеклянное преспапье с перламутровым видом внутри и матерчатый петушок для вытирания перьев; в простенке портрет Льва Толстого, всецело составленный из набранного микроскопическим шрифтом «Холстомера». Иннокентий спал в соседней комнатке, на кожаном диване. После долгого, вольного дня спалось превосходно; случалось однако, что иная греза принимала особый оборот, — сила ощущения как бы выносила его из круга сна, — и некоторое время он оставался лежать, как проснулся, боясь из брезгливости двинуться.

По утрам он шел в лес, зажав учебник подмышку, руки засунув за шнур, которым подпоясывал белую косоворотку. Из под сдвинутой на бок фуражки живописными, коричневыми прядями волосы налезали на бугристый лоб, хмурились сросшиеся брови, — был он недурен собой, хотя чересчур губаст. В лесу он усаживался на толстый ствол березы, недавно поваленной грозой (и до сих пор всеми своими листьями трепещущей от удара), курил, заграждал книгой путь

торопившимся муравьям или предавался мрачному раздумью. Юноша одинокий, впечатлительный, обидчивый, он особенно остро чувствовал социальную сторону вещей. Так, ему казалось омерзительным всё, что окружало летнюю жизнь Годуновых-Чердынцевых, — скажем, их челядь, — «челядь», повторял он, сжимая челюсти, со сладострастным отвращением. Тут имелся в виду и жирненький шофер, его веснушки, вельветовая ливрея, оранжевые краги, крахмальный воротничок, подпиравший рыжую складку затылка, который наливался кровью, когда у каретного сарая он заводил машину, тоже противную, обитую снутри глянцевинопунцовой кожей; и седой лакей с бакенбардами, откусывавший хвосты новорожденным фокс-терьерам; и гувернер-англичанин, шагавший, бывало, через село без шапки, в макинтоше и белых штанах, что служило поводом для мальчишек острить насчет «крестного хода» или «подштанников»; и бабы-поденщицы, приходившие по утрам выпалывать аллеи под надзором глухого сутулого старичка в розовой рубашке, с особым форсом и древней ревностью подметавшего напоследок у самого крыльца... Иннокентий, всё с той же книгой подмышкой, — что мешало сложить руки крестом, как хотелось бы, — стоял, прислонясь к дереву в парке, и сумрачно глядел на то, на се, на сверкающую крышу белого дома, который еще не проснулся...

В первый раз, кажется, он их увидел с холма: на дороге, холм огибающей, появилась кавалькада, — впереди Таня, по-мужски верхом на высокой, ярко-

гнедой лошади, рядом с ней сам Годунов-Чердынцев, неприметный господин на низкорослом, мышастом иноходце; за ними — англичанин в галифе, еще кто-то; сзади — танин брат, мальчик лет тринадцати, который вдруг пришпорил коня, перегнал всех и карьером пронесся в гору, работая локтями, как жокей.

После этого были еще другие случайные встречи, а потом... Ну-с, пожалуйста: жарким днем в середине июня...

Жарким днем в середине июня по сторонам дороги размашисто двигались косари, — то к правой, то к левой ключице прилипала рубаха, — «Бог помощь», сказал Илья Ильич, проходя; он был в парадной панаме, нес букет ночных фиалок. Иннокентий молча шагал рядом, вращая ртом (лушил семечки). Приближались к усадьбе. На площадке для игры в лоун-теннис тот же глухой розовый старичок в фартуке макал кисть в ведро и проводил, согнувшись до земли и пятясь, толстую сливочную черту. «Бог помощь», — сказал Илья Ильич, проходя.

Стол был накрыт в аллее, русский пятнистый свет играл на скатерти. Экономка, в горжетке, со стальными, зачесанными назад волосами, уже разливала шоколад по темно-синим чашкам, которые разносили лакеи. Былолюдно и шумно в саду, множество гостей — родственники и соседи. Годунов-Чердынцев (весьма пожилой, с желтовато-пепельной бородкой и морщинами у глаз), поставив ногу на скамью, играл с фокс-терьером, заставляя его прыгать, — собака не

только прыгала очень высоко, стараясь хапнуть мокрый мячик, но даже ухитрялась, вися в воздухе, еще подвытянуться, с добавочной судорогой всего тела. Елизавета Павловна шла через сад с другой дамой, всплескивая руками, что-то живо на ходу рассказывая, — высокая, румяная, в большой дрожащей шляпе. Илья Ильич с букетом стоял и кланялся... В пестром мареве (ибо Иннокентий, несмотря на небольшую репетицию гражданского презрения, проделанную накануне, находился в сильнейшем замешательстве) мелькали молодые люди, бегущие дети, чья-то шаль с яркими маками по черному, второй фокс-терьер, — а главное, главное: скользящее сквозь тень и свет, еще неясное, но уже грозящее роковым обаянием, лицо Тани, которой исполнялось сегодня шестнадцать лет.

Уселись. Он оказался в самом тенистом конце стола, где сидевшие не столько говорили между собой, сколько смотрели, все одинаково повернув головы, туда, где был говор и смех, и великолепный, атласисто-розовый пирог, утыканный свечками, и восклицания детей, и лай обоих фокс-терьеров, чуть не прыгнувших на стол... а здесь как бы соединялись кольцами липовой тени люди разбора последнего: улыбавшийся как в забытьи Илья Ильич; некрасивая девица в воздушном платье, пахнувшая потом от волнения; старая француженка с недобрыми глазами, державшая под столом на коленях незримое крохотное существо, изредка звеневшее бубенчиком... Соседом Иннокентия оказался брат управляющего, чело-

век тупой, скучный, притом заика; Иннокентий разговаривал с ним только потому, что смертельно боялся молчать, и хотя беседа была изнурительная, он с отчаяния за нее держался, — зато позже, когда уже зачастил сюда и случайно встречал беднягу, не говорил с ним никогда, избегая его, как некую западню или воспоминание позора.

Вращаясь, медленно падал на скатерть липовый летунок.

Там, где сидела знать, Годунов-Чердынцев громко говорил через стол со старухой в кружевах, говорил, держа за гибкую талию дочь, которая стояла подле и подбрасывала на ладони мячик. Некоторое время Иннокентий боролся с сочным кусочком пирога, очутившимся вне тарелки, — и вот, от неловкого прикосновения, перевалившись и — под стол, — малиновый увалень (там его и оставим). Илья Ильич всё улыбался впустую, обсасывал усы; кто-то попросил его передать печенье, — он залился счастливым смехом и передал. Вдруг над самым ухом Иннокентия раздался быстрый задыхающийся голос: Таня, глядя на него без улыбки и держа в руке мяч, предлагала — хотите с нами пойти? — и он жарко смутился, выбрался из-за стола, толкнув соседа, — несразу мог выпростать правую ногу из-под общей садовой скамейки.

О ней говорили: какая хорошенькая барышня; у нее были светло-серые глаза под котиковыми бровями, довольно большой, нежный и бледный, рот, острые резцы, — и когда она бывала нездорова или не в духе,

заметны становились волоски над губой. Она страстно любила все летние игры, во всё играла ловко, с какой-то очаровательной сосредоточенностью, — и, конечно, само собой прекратилось простодушное ужение пещарей с Василием, который недоумевал, — что случилось? — появлялся вдруг, около школы, под вечер, и манил Иннокентия, неуверенно осклабясь и поднимая на уровень лица жестянку с червями, — и тогда Иннокентий внутренне содрогался, сознавая свою измену народу. Между тем, от новых знакомых радости было мало. Так случилось, что к центру их жизни он всё равно не был допущен, а пребывал на ее зеленой периферии, участвуя в летних забавах, но никогда не попадая в самый дом. Это бесило его; он жаждал приглашения только затем, чтобы высокомерно отказаться от него, — да и вообще всё время был на чеку, хмурый, загорелый, лохматый с постоянной игрой челюстных желваков, — и всякое танино слово как бы отбрасывало в его сторону маленькую тень оскорбления, и Боже мой, как он их всех ненавидел, — ее двоюродных братьев, подруг, веселых собак... Внезапно всё это бесшумно смешалось, исчезло, — и вот, в бархатной темноте августовской ночи, он сидит на парковой калитке и ждет; покалывает засунутая между рубашкой и телом записка, которую, как в старых романах, ему принесла босая девчонка. Лаконический призыв на свидание показался ему издевательством, но всё-таки он поддался ему — и был прав: от ровного шороха ночи отделился легкий хруст ша-

гов. Ее приход, ее бормотание и близость были для него чудом; внезапное прикосновение ее холодных, проворных пальцев изумило его чистоту. Сквозь деревья горела огромная, быстро поднимавшаяся луна. Обливаясь слезами, дрожа и солеными губами слепотычась в него, Таня говорила, что завтра уезжает с матерью на юг, и что всё кончено, о, как можно было быть таким непонятливым... «Останьтесь, Таня», — взмолился он, но поднялся ветер, она зарыдала еще пуще... когда же она убежала, он остался сидеть неподвижно, слушая шум в ушах, а погода пошел прочь по темной и как будто шевелившейся дороге, и потом была война с немцами, и вообще всё как-то расплозлось, — но постепенно стянулось снова, и он уже был ассистентом профессора Бэра (Behr) на чешском курорте, а в 1924 году, что ли, работал у него же в Са-войе, и однажды — кажется в Шамони — попался молодой советский геолог, разговорились, и, упомянув о том, что тут пятьдесят лет тому назад погиб смертью простого туриста Федченко (исследователь Ферганы!), геолог добавил, что вот постоянно так случается: этих отважных людей смерть так привыкла преследовать в диких горах и пустынях, что уже без особого умысла, шутя, задевает их при всяких других обстоятельствах и к своему же удивлению застаёт их врасплох, — вот так погибли и Федченко, и Северцев, и Годунов-Чердынцев, не говоря уже об иностранных классиках, — Спик, Дюмон-Дюрвилль... А еще через несколько лет Иннокентий был проездом в Париже и,

посетив по делу коллегу, уже бежал вниз по лестнице, надевая перчатку, когда на одной из площадок вышла из лифта высокая сутуловатая дама, в которой он мгновенно узнал Елизавету Павловну. «Конечно, помню вас, еще бы не помнить», — произнесла она, глядя не в лицо ему, а как то через его плечо, точно за ним стоял кто-то (она чуть косила). «Ну, пойдете к нам, голубчик», — продолжала она, выйдя из мгновенного оцепенения, и отвернула носком угол толстого, пресыщенного пылью, мата, чтобы достать из под него ключ. Иннокентий вошел за ней, мучась, ибо никак не мог вспомнить, что именно рассказывали ему по поводу того, как и когда погиб ее муж.

А потом пришла домой Таня, вся как-то уточнившаяся за эти двадцать лет, с уменьшившимся лицом и подобрешшими глазами, — сразу закурила, засмеялась, без стеснения вспоминая с ним то отдаленное лето, — и он всё дивился, что и Таня, и ее мать не поминают покойного и так просто говорят о прошлом, а не плачут навзрыд, как ему, чужому, хотелось плакать, — или может быть держали фасон? Появилась бледная, темноголовая девочка лет десяти, — «А вот моя дочка, — ну пойди сюда», — сказала Таня, суя порозовевший окурок в морскую раковину, служившую пепельницей. Вернулся домой танин муж, Кутасов, — и Елизавета Павловна встретив его в соседней комнате, предупредила о госте на своем вывезенном из России, домашнем французском языке: «le fils du maître d'école chez nous au village», — и тут Иннокентий

вспомнил, как Таня сказала раз подружке, намекая на его (красивые) руки, «regarde ses mains», — и теперь, слушая, как девочка, с чудесной, отечественной певучестью отвечает на вопросы матери, он успел злорадно подумать: «Небось, теперь не на что учить детей по-иностранному», т. е. не сообразил сразу, что ныне в этом русском языке и состоит как раз самая праздная, самая лучшая роскошь.

Беседа не ладилась; Таня, что-то спутав, уверяла, что он ее когда-то учил революционным стихам о том, как деспот пирует, а грозные буквы давно на стене уж чертит рука роковая. «Другими словами, первая стенгазета», сказал Кутасов, любивший острить. Еще выяснилось, что танин брат живет в Берлине, и Елизавета Павловна принялась рассказывать о нем... Вдруг Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накаплиются сокровища, растут скрытые складки в темноте, в пыли, — и вот кто-то проезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, невыдававшуюся двадцать лет. Он встал, простился, его не очень задерживали. Странно: дрожали ноги. Вот какая потрясающая встреча. Перейдя через площадь, он вошел в кафе, заказал напиток, привстал, чтобы вынуть из-под себя свою же задавленную шляпу. Какое ужасное на душе беспокойство... А было ему спокойно по нескольким причинам. Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и некогда.

Берлин, 1936 г.

Королек

Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы, при чем иным приходится преодолевать не только даль, но и давность: с кем больше хлопот, с тем кочевником или с этим — с молодым тополем, скажем, который рос поблизости, но теперь давно срублен, или с выбранным двором, существующим и по сей час, но находящимся далеко отсюда? Потопитесь, пожалуйста.

Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал, где ему приказано — у высокой кирпичной стены — целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене. И хотя всё это только намечено, и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один

из балкончиков уже выходят живые люди — братья Густав и Антон, — а во двор вступает, катя тележку с чемоданом и кипой книг, новый жилец — Романтовский.

Со двора, особенно если день солнечный, и окна настежь раскрыты, комнаты кажутся налитыми густой чернотой (всегда где-нибудь да бывает ночь — часть суток внутри, а часть снаружи). Романтовский посмотрел на черные окна, на двоих пучеглазых мужчин, наблюдавших за ним с балкона, и, подняв чемодан на плечо, качнувшись, точно кто хватил его по затылку, ввалился в дом. В блеске солнца остались тележка с книгами, бочка, другая бочка, мигающий тополек и надпись дегтем на кирпичной стене. Голосуйте за список номер такой-то. Ее перед выборами намалевали, вероятно, братья.

Мы устроим мир так: всяк будет потен, и всяк будет сыт. Будет работа, будет что жрать, будет чистая, теплая, светлая —

(Романтовский вселился в соседнюю. Она была еще хуже ихней. Но под кроватью он нашел гуттаперчевую куколку: тут до него жил, должно быть, семейный).

Однако, несмотря на то, что мир не обратился еще окончательно и полностью в состояние вещественности, а еще хранил там и сям области неосязаемые и неприкосновенные, братья чувствовали себя в жизни плотно и уверенно. Старший, Густав, служил на мебельном складе; младший находился временно без

работы, но не унывал. Сплошь розовое лицо Густава с длинными, торчащими, льяными бровями. Его широкая, как шкаф, грудная клетка, и вечный пуловер из крутой серой шерсти, и резинки на сгибах толстых рук, — чтобы ничего не делалось спустя рукава. Оспой выщербленное лицо Антона с темными усами, подстриженными трапецией. Его красная фуфайка и жилистая худощавость. Но когда они оба облакачивались на железные перильца балкона, зады были у них точь-в-точь одинаковые — большие, торжествующие, туго обтянутые по окатам одинаковым клетчатым сукном.

Еще раз: мир будет потен и сыт. Бездельникам, паразитам и музыкантам вход воспрещен. Пока сердце качает кровь, нужно жить, чорт возьми. Густав вот уже два года копил деньги, чтобы жениться на Анне, купить буфет, ковер.

По вечерам раза три в неделю она приходила — дебелая, полные руки, широкая переносица в веснушках, свинцовая тень под глазами, раздвинутые зубы, из которых один к тому же выбит. Втроем дули пиво. Она поднимала к затылку голые руки, показывая блестящее рыжее оперение подмышками, и, закинув голову, так разевала рот, что было видно всё небо и язычек гортани, похожий на гузок вареной курицы. Обоим братьям был по вкусу ее анатомический смех, они усердно щекотали ее.

Днем, пока брат был на работе, Антон сидел в дружественном кабаке или валялся среди одуванчиков на холодной и яркой еще траве на берегу канала и

следил с завистью, как громкие молодцы грузят уголь на баржу, или бессмысленно смотрел вверх, в праздное голубое небо, навевающее сон. Но вот, — что-то в налаженной жизни братьев заскочило.

Еще тогда, когда Романтовский вкатывал тележку во двор, он возбудил в них и раздражение и любопытство. Безошибочным своим нюхом они почували: этот — не как все. Обыкновенный смертный ничего бы такого на первый взгляд в Романтовском не увидел, но братья увидели. Он, например, ходил не как все: ступая, особенно приподнимался на упругой подошве: ступит и взлетит, точно на каждом шагу была возможность разглядеть нечто незаурядное поверх заурядных голов. Был он что называется дылда, с бледным востроносим лицом и ужасно беспокойными глазами. Из коротких рукавов двубортного пиджака с какой-то назойливой и никчемной очевидностью (вот и мы, что нам делать?) вылезали длинные кисти рук. Уходил он и приходил в неопределенные часы. В один из первых же дней Антон видел, как он стоит у книжного лотка и приценивается, или даже купил, ибо торговец проворно побил одну книжку о другую — пыльные — и зашел с ними за лоток. Выяснились и другие причуды: свет горит почти всю ночь; необщителен.

Раздается голос Антона:

— Этот франт зазнается. Надо бы посмотреть на него поближе.

— Я ему продам трубку, — сказал Густав.

Туманное происхождение трубки. Ее как-то при-

несла Анна, но братья признавали только цыгарки. Дорогая, еще необкуренная, с полым вставным стерженьком в прямом мундштуке. К ней — замшевый чехольчик.

— Кто там? Что вам нужно? — спросил Романтовский через дверь.

— Соседи, соседи, — ответил Густав басом.

И соседи вошли, жадно озираясь. На столе обрубок колбасы на бумажке и стопка криво сложенных книг — одна раскрыта на картинке: многопарусные корабли и сверху в углу летящий младенец с надутыми щеками.

— Давайте знакомиться, — сказали братья. — Живем бок-о-бок, можно сказать, а всё как-то...

На комодe спиртовка и два апельсина.

— Рад познакомиться, — тихо сказал Романтовский и, присев на край постели, наклонив лоб с налившейся жилой, принялся шнуровать башмаки.

— Вы отдохали, — сказал с грозной вежливостью Густав, — мы к вам не во время...

Тот ничего, ничего не ответил; но вдруг выпрямился, повернулся к окну, поднял палец и замер.

Братья посмотрели: окно как окно — облако, макушка тополя, стена напротив.

— Вы разве не видите? — спросил Романтовский.

Они, красный и серый, подошли к окну, даже высунулись, став одинаковыми. Ничего. И внезапно оба почувствовали: что-то не так — ой, не так! Оберну-

лись. Романтовский в неестественной позе стоял возле комода.

— Должно быть, показалось, — сказал он, не глядя на них. Пролетело как будто... Я однажды видел, как упал аэроплан.

— Это бывает, — согласился Густав. — А мы зашли неспроста. Не желаете ли купить..? Совершенно новая... И футляр есть...

— Футляр? Вот как. Я, знаете, редко курю.

— Так будете чаще. Посчитаем недорого. Три с полтиной.

— Три с полтиной. Вот как.

Он вертел трубку в руках, прикусив нижнюю губу, что-то соображая. Его зрачки не глядели на трубку, а ходили вправо и влево маятником.

Между тем братья стали раздуваться, расти, они заполнили всю комнату, весь дом, и затем выросли из него. По сравнению с ними, тополек был уже не больше игрушечных деревьев, таких валких, из крашеной ваты, на зеленых круглых подставках. Дом из пыльного картона со слюдяными окнами доходил братьям до колен. Огромные, победоносно пахнущие потом и пивом, с бессмысленными говяжьими голосами, с отхожим местом взамен мозга, они возбуждают дрожь унижительного страха. Я не знаю, почему они прут на меня. Умоляю вас, отвяжитесь, я не трогаю вас, не трогайте и вы меня — я уступлю вам — только отвяжитесь.

— Но мелочью у меня не наберется, — тихо ска-

зал Романтовский. — Вот разве что разменяете десятку.

Разменяли и, ухмыляясь, ушли. Проверенную на свет ассигнацию Густав спрятал в железную копилку.

Соседу однако они покоя не дали. Их просто бесило, что, невзирая на состоявшееся знакомство, человек оставался всё таким же неприступным. Он избегал с ними встреч, так что приходилось подстергать и ловить его, чтобы на миг заглянуть в его ускользающие зрачки. Обнаружив ночную жизнь его лампы, Антон не выдержал и, босиком подойдя к двери, из под которой натянутой золотой нитью сквозил свет, постучал.

Но Романтовский не отозвался.

— Спать, спать, — сказал Антон, хлопая ладонью по двери.

Свет молча глядел сквозь щель. Антон потерял ручку. Золотая нить вдруг оборвалась.

С тех пор оба, особенно Антон, благо днем не работал, установили наблюдение за бессонницей соседа. Но враг был хитер и наделен тонким слухом. Как бы тихонько ни приближаться к двери, свет за ней мгновенно погасал, будто его и вовсе не было, — и только если очень долго стоять, затаив дыхание, в холодном коридоре, можно было дожидаться возвращения чуткого луча. Так падают в обморок жуки.

Служка оказывалась весьма изнурительной. Наконец братья поймали его как-то на лестнице и затеснили.

— Предположим, я привык читать по ночам. Какое вам дело? Дайте мне пройти, пожалуйста.

Когда он повернулся, Густав в шутку сбил с него шляпу. Романтовский поднял ее, ничего не сказав.

Через несколько дней вечером, улучив мгновение — он возвращался из уборной и не успел юркнуть к себе, — братья столпились вокруг него. Их было только двое, но всё-таки они ухитрились столпиться — и пригласили его зайти к ним.

— Есть пивцо, — сказал Густав, подмигнув.

Он попытался было отказаться.

— Ну чего там, пойдем! — крикнули братья, взяли его подмышки и повлекли. (При этом они чувствовали, какой он худой, тонкие предплечья, слабые, нестерпимый соблазн — эх бы, сжать хорошенько, до хруста, — эх, трудно сдержаться, ну хотя бы ощупать, на ходу, так, легонько...)

— Больно, — сказал Романтовский. — Оставьте, прошу вас. Я могу итти и один.

Пивцо, большеротая невеста Густава, тяжелый дух. Романтовского попробовали напоить. Без воротничка, с медной запонкой под большим беззащитным кадыком, с длинным бледным лицом и трепещущими ресницами, он в сложной позе сидел на стуле, кое-что подкрутив, а кое-что выгнув, и когда встал, раскрутился как спираль. Его, впрочем, заставили скрутиться снова, и по совету братьев Анна села к нему на колени, и он, косясь на вздутый подъем ноги в слишком

тесной упряжке туфли, преодолевал как мог тоску и не смел косную, рыжую сбросить.

На минуту им показалось, что он сломлен, что он свой, и Густав даже сказал:

— Вот видишь. Зря брезговал нашей компанией. Расскажи-ка нам что-нибудь. Нам обидно, что ты всё как-то помалкиваешь. Что это ты читаешь по ночам?

— Старые, старые сказки, — сказал Романтовский таким голосом, что братьям вдруг стало очень скучно. Скука была грозная, душная, но хмель не давал грозе разразиться, а напротив клонил ко сну. Анна сползла с колен Романтовского и задела уже спящим бедром стол: пустые бутылки качнулись, как кегли, и одна упала. Братья клонились, валились, зевали, глядя сквозь сонные слезы на гостя. Он, трепеща и лучась, вытянулся и стал суживаться, и постепенно пропал.

Так дальше нельзя. Он отравляет жизнь честным людям. Еще, пожалуй, в конце месяца съедет — целый, неразобранный, гордо отворотив нос. Мало того, что он двигается и дышит не как все, — нам никак не удастся схватить разницу, нащупать ушко, за которое можно было бы его вытянуть. Ненавистно всё то, что нельзя тронуть, взвесить, сосчитать.

Начались мелкие истязания. Им удалось в понедельник насыпать ему в простыни картофельной муки, которая, как известно, может ночью свести с ума. Во вторник он был встречен на углу — нес в охапке книги — и так был аккуратно взят в коробочку, что книги

упали в избранную лужу. В среду смазали доску в уборной столярным клеем. В четверг фантазия братьев иссякла.

Он молчал, он молчал. А в пятницу, нагнав летучим своим аллюром Антона под воротами двора, сунул ему иллюстрированную газету — хотите, мол, посмотреть? Эта неожиданная вежливость озадачила и еще пуще разожгла братьев.

Густав велел своей невесте потормозить Романовского для того, чтобы было к чему придраться. Невольно норовишь покатить мяч, прежде чем ударить ногой. Игривые животные тоже предпочитают подвижной предмет. И хотя Анна, вероятно, была Романовскому в высшей степени противна своей молочной в клопидных крапинках кожей, пустотой светлых глаз и мокрыми мысками десен между зубов, он счел уместным скрыть неприязнь, боясь, должно быть, пренебрежением к Анне разъярить ее жениха.

Так как он всё равно раз в неделю ходил в кинематограф, то в субботу он взял ее с собой, надеясь, что этим отделается. Незаметно, на приличном расстоянии, оба в новых кепках и красных башмаках, братья потекли вслед, — и на этих сомнительных улицах, в пыльных этих сумерках, были сотни людей как они, но только один Романовский.

В продолговатом зальце уже мерцала ночь — лунная ночь собственного производства, — когда братья, таясь и сутулясь, сели в задний ряд. Где-то впереди чувялось томительно-сладостное присутствие Роман-

товского. Анне по дороге ничего не удалось выудить из неприятного спутника, да и не совсем понимала она, чего Густаву от него нужно. Пока они шли, ей хотелось зевать от одного вида его худобы и грусти. Но в кинематографе она о нем забыла, прижавшись к нему равнодушным плечом. Призраки переговаривались трубными голосами. Барон пригубил вино и осторожно поставил бокал — со стуком оброненного ядра.

А потом барона ловили. Кто бы узнал в нем главного мошенника? За ним охотились страстно, иступленно. Со взрывчатым грохотом мчался автомобиль. В притоне дрались бутылками, стульями, столами. Мать укладывала спать упоительного ребенка.

Когда всё кончилось, и Романтовский, споткнувшись, вышел в прохладу и мрак, Анна воскликнула: «Ах, это было чудно!..»

Он откашлялся и через минуту сказал: «Не будем преувеличивать. Всё это на самом деле — гораздо скучнее.»

— Сам ты скучный, — возразила она хмуро, а потом тихо засмеялась, вспомнив миленькое дитя.

Сзади, всё на том же расстоянии, текли за ними братья. Оба были мрачны. Оба накачивались мрачной энергией. Антон мрачно сказал:

— Это всё-таки не дело — гулять с чужой невестой.

— Особенно в субботний вечер, — сказал Густав.

Пешеход, поровнявшись с ними, случайно взглянул на их лица и невольно пошел скорее.

Вдоль заборов ночной ветер гнал шуршащий мусор. Места пустые и темные. Слева, над каналом, щурились кое-где огоньки. Справа наспех очерченные дома повернулись к пустырю черными спинами. Через некоторое время братья ускорили шаг.

— Мать и сестра в деревне, — говорила Анна тихо и довольно уютно среди мягкой ночи. — Когда выйду замуж, может быть съездим туда к ним. Моя сестра прошлым летом...

Романтовский вдруг обернулся.

— Прошлым летом выиграла в лотерею, — продолжила Анна, машинально оглянувшись тоже.

Густав звучно свистнул. — Ах, да это они! — воскликнула Анна и радостно захохотала. — Ах-ах, какие!..

— Доброй ночи, доброй ночи, — сказал Густав торопливым запыхавшимся голосом. — Ты что тут, осел, делаешь с моей невестой?

— Ничего не делаю, мы были...

— Но-но, — сказал Антон и с оттяжкой ударил его под ребра.

— Пожалуйста, не деритесь. Вы отлично знаете...

— Оставьте его, ребята, — сказала Анна со смешком.

— Должны проучить, — сказал Густав, разгораясь и с нестерпимым чувством предвкушая, как он тоже

сейчас по примеру брата тронет эти хрящики, этот хрустящий хребет.

— Между прочим, со мной однажды случилась смешная история, — скороговоркой начал Романтовский, — но тут Густав принялся в ребра ему ввинчивать, ввинчивать все пять горбов своего огромного кулака, и это было совершенно неописуемо больно. Отшатнувшись, Романтовский поскользнулся, чуть не упал, упасть значило бы тут же погибнуть.

— Пускай убирается, — сказала Анна.

Он повернулся и, держась за бок, пошел вперед, вдоль темных, шуршащих заборов. Братья двинулись за ним, почти наступая ему на пятки. Густав, томясь, рычал, это рычание вот-вот могло превратиться в прыжок.

Далеко впереди сквозил спасительный свет — там была освещенная улица, — и хотя должно быть это горел всего один какой-нибудь фонарь, она казалась, эта пройма в ночи, изумительной иллюминацией, счастливой, лучезарной областью, полной спасенных людей. Он знал, что если пуститься бежать, то всё будет кончено, ибо невозможно успеть добежать; надо спокойно и ровно итти, так может быть дойдешь, и молчать, и не прикладывать руки к горящему боку. Он шагал, по привычке взлетая, и казалось, он это делает нарочно, чтобы глумиться, — еще пожалуй улетит.

Голос Анны: — Густав, отстань от него. Потом не удержишься, сам знаешь, — вспомни, что раз было, когда ты с каменотесом...

— Молчи, стерва, он знает, что нужно! (Это голос Антона).

Теперь до области света, где можно уже различить и листву каштана, и кажется тумбу, а там, слева, мост, — до этого замершего, умоляющего света, — теперь, теперь не так уж далеко... Но всё-таки не следует бежать. И хотя он знал, что это оплошно, губительно, он помимо воли, внезапно взлетев и всхлипнув, ринулся вперед.

Он бежал и будто хохотал на бегу. Густав его настиг в два прыжка. Оба упали, и среди яростного шороха и хруста был один особенный звук, скользкий, раз, и еще раз — по рукоять, — и тогда Анна мгновенно убежала в темноту, держа в руке свою шляпу.

Густав встал. Романтовский лежал на земле, кашлял и говорил по-польски. Всё оборвалось.

— А теперь айда, — сказал Густав. — Я его ляпнул.

— Вынь, — сказал Антон. — Вынь из него.

— Уже вынул, — сказал Густав. — Как я его ляпнул!

Они бежали, но не к свету, а через темный пустырь, а когда, обогнув кладбище, вышли в переулок, то переглянулись и пошли обычным шагом.

Придя домой, они тотчас завалились спать. Антону приснилось что он сидит на траве, и мимо него плывет баржа. Густаву ничего не приснилось.

Рано утром явились полицейские, они обыскива-

ли комнату убитого и кое о чем расспрашивали Антона, вышедшего к ним. Густав остался в постели — сытый, сонный, красный как вестфальская ветчина, с торчащими белыми бровями.

Погода полиция ушла, и Антон вернулся. Он был в необыкновенном состоянии, давился смехом и приседал, беззвучно ударя кулаком по ладони.

— Вот умора! — сказал он. — Знаешь, кто он был? — Королек!

Королек по-ихнему значило фальшивомонетчик. И Антон рассказал, что ему удалось узнать: состоял в шайке, оказывается, и только что вышел из тюрьмы, а до того рисовал деньги; вероятно, его пырнул сообщник.

Густав потрясся от смеха тоже, но потом вдруг переменился в лице:

— Подсунул, надул мошенник! — воскликнул он и нагишом побежал к шкапу, где хранилась копилка.

— Ничего, спустим, — сказал Антон. — Кто не знает, не отличит.

— Нет, каков мошенник, — повторял Густав.

Мой бедный Романтовский! А я-то думал вместе с ними, что ты и вправду особенный. Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный по бедности жить в том черном квартале. Я думал, судя по иным приметам, что ты каждую ночь — выправляя стих или пестуя растущую мысль — празднуешь неузвимую победу над братьями. Мой бедный Роман-

товский! Теперь всё кончено. Собранные предметы разбредаются опять, увы. Тополек бледнеет и, снявшись, возвращается туда, откуда был взят. Тает кирпичная стена. Балкончики вдвигаются один за другим, и, повернувшись, дом уплывает. Уплывает всё. Распадается гармония и смысл. Мир снова томит меня своей пестрой пустотою.

Берлин, 1933.

Тяжелый дым

Когда зажглись, чуть ли не одним махом до самого Байришер Плац, висящие над улицей фонари, всё в неосвещенной комнате слегка сдвинулось со своих линий под влиянием уличных лучей, снявших первым делом копию с узора кисейной занавески. Уже часа три, за вычетом краткого промежутка ужина (краткого и совершенно безмолвного, благо отец и сестра были опять в ссоре и читали за столом), он так лежал на кушетке, длинный, плоский юноша в пенсне, поблескивающим среди полумрака. Одурманенный хорошо знакомым ему томительным, протяжным чувством, он лежал, и смотрел, и прищуривался, и любая продольная черта, перекладина, тень перекладины, обращались в морской горизонт или в кайму далекого берега. Как только глаз научился механизму этих метаморфоз, они стали происходить сами по себе, как продолжают за спиной чудотворца зря оживать камушки, и теперь, то в одном, то в другом месте ком-

натного космоса, складывалась вдруг и углублялась мнимая перспектива, графический мираж, обольстительный своей прозрачностью и пустынностью: полоса воды, скажем, и черный мыс с маленьким силуэтом араукарии.

Из глубины соседней гостиной, отделенной от его комнаты раздвижными дверьми (сквозь слепое, зыбкое стекло которых горел рассыпанный по зыби желтый блеск тамошней лампы, а пониже сквозил, как в глубокой воде, расплывчато-темный прислон стула, ставимого так ввиду поползновения дверей медленно, с содроганиями, разъезжаться), слышался по временам невнятный, малословный разговор. Там (должно быть, на дальней оттоманке) сидела сестра со своим знакомым, и, судя по таинственным паузам, разрешавшимся, наконец, покашливанием или нежно-вопросительным смешком, они целовались. Были еще звуки с улицы: завивался вверх, как легкий столб, шум автомобиля, венчаясь гудком на перекрестке, или, наоборот, начиналось с гудка и проносилось дребежжанием, в котором принимала посильное участие дрожь дверей.

И как сквозь медузу проходит свет воды и каждое ее колебание, так всё проникало через него, и ощущение этой текучести преображалось в подобие ясновидения: лежа плашмя на кушетке, относимой вбок течением теней, он вместе с тем сопутствовал далеким прохожим и вообразил то панель у самых глаз, с дотошной отчетливостью, с какой видит ее собака,

то рисунок голых ветвей на несовсем еще бескрасочном небе, то чередование витрин: куклу парикмахера, анатомически не более развитую, чем дама червей; рамочный магазин с вересковыми пейзажами и неизбежной *Inconnue de la Seine* (столь популярной в Берлине) среди многочисленных портретов главы государства; магазин ламп, где все они горят, и невольно спрашиваешь себя, какая же из них там своя, обиходная...

Он спохватился, лежа мумией в темноте, что получается неловко: сестра, может быть, думает, что его нет дома. Но двинуться было неимоверно трудно. Трудно, — ибо сейчас форма его существа совершенно лишилась отличительных примет и устойчивых границ; его рукой мог быть, например, переулок по ту сторону дома, а позвоночником — хребтообразная туча через всё небо с холодком звезд на востоке. Ни полосатая темнота в комнате, ни освещенное золотою зыбью ночное море, в которое преобразилось стекло дверей, не давали ему верного способа отмерить и отмежевать самого себя, и он только тогда отыскивал этот способ, когда проворным чувствилищем вдруг повернувшегося во рту языка (бросившегося как бы спросонья проверить всё ли благополучно) нащупал инородную мягкость застрявшего в зубах говяжьего волоконца и заодно подумал, сколько уже раз в продолжение двадцатилетней жизни менялась эта невидимая, но осязаемая обстановка зубов, к которой язык

привыкал, пока не выпадала пломба, оставляя за собой пропасть, которая со временем заполнялась вновь.

Понуждаемый не столько откровенной тишиной за дверьми, сколько желанием найти что-нибудь остренькое для подмоги одинокому слепому работнику, он, наконец, потянулся, приподнялся и, засветив лампу на столе, полностью восстановил свой телесный образ. Он увидел и ощутил себя (пенснэ, черные усики, нечистая кожа на лбу) с тем омерзением, которое всегда испытывал, когда на минуту возвращался к себе и в себя из томного тумана, предвещавшего... что? Какой образ примет, наконец, мучительная сила, раздражающая душу? Откуда оно взялось, это растущее во мне? Мой день был такой как всегда, университет, библиотека, но по мокрой крыше трактира на краю пустыря, когда с поручением отца пришлось переть к Осиповым, стлался отяжелевший от сырости, сытый, сонный дым из трубы, не хотел подняться, не хотел отделиться от милого тлена, и тогда-то именно ёкнуло в груди, тогда-то...

На столе лоснилась клеенчатая тетрадь, и рядом валялся, на пегом от клякс бюваре, бритвенный ножичек с каемкой ржавчины вокруг отверстий. Кроме того лампа освещала английскую булавку. Он ее разогнул и острием, следуя несколько суетливым указаниям языка, извлек волоконце, проглотил... лучше всяких яств... После чего язык, довольный, улегся.

Вдруг, сквозь зыбкое стекло дверей, появилась,

приложенная извне, русалочья рука; затем половины судорожно раздвинулись, и просунулась кудлатая голова сестры.

— Гришенька, — сказала она, — пожалуйста, будь ангел, достань папирос у папы.

Он ничего не ответил, и она совсем сузила яркие щели мохнатых глаз (очень плохо видела без своих роговых очков), стараясь рассмотреть, не спит ли он.

— Достань, Гришенька, — повторила она еще просительнее, — ну, сделай это. Я не хочу к нему ходить после вчерашнего.

— Я может быть тоже не хочу, — сказал он.

— Скоренько, — нежно произнесла сестра. — А, Гришенька?

— Хорошо, отстань, — сказал он наконец, и, бережно воссоединив дверные половины, она растворилась в стекле.

Он опять подвинулся к освещенному столу с надеждой вспомнив, что куда-то засунул забытую однажды приятелем коробочку папирос. Теперь уже не видно было блестящей булавки, а клеенчатая тетрадь лежала иначе, полураскрывшись (как человек меняет положение во сне). Кажется — между книгами. Полки тянулись сразу над столом, свет лампы добирался до корешков. Тут был и случайный хлам (больше всего), и учебники по политической экономии (я хотел совсем другое, но отец настоял на своем); были и люби-

мые, в разное время потрафившие душе, книги, «Шатер» и «Сестра моя жизнь», «Вечер у Клэр» и «Val du comte d'Orgel», «Защита Лужина» и «Двенадцать стульев», Гофман и Гёльдерлин, Боратынский и старый русский Бэдекер. Он почувствовал, уже не первый, — нежный, таинственный толчок в душе и замер, прислушиваясь — не повторится ли? Душа была напряжена до крайности, мысли затмевались, и, придя в себя, он не сразу вспомнил, почему стоит у стола и трогает книги. Бело-синяя картонная коробочка, засунутая между Зомбартом и Достоевским, оказалась пустой. Повидимому, не отвертеться. Была, впрочем, еще одна возможность.

Вяло и почти беззвучно волоча ноги в ветхих ночных туфлях и неподтянутых штанах, он из своей комнаты переместился в прихожую и там нащупал свет. На подзеркальнике, около щегольской бэжевой кепки гостя, остался мягкий, мятый кусок бумаги; оболочка освобожденных роз. Он пошарил в пальто отца, проникая брезгливыми пальцами в бесчувственный мир чужого кармана, но не нашел в нем тех запасных папирос, которые надеялся добыть, зная тяжеловатую отцовскую предусмотрительность. Ничего не поделаешь, надо к нему...

Но тут, т. е. в каком-то неопределенном месте сомнамбулического его маршрута, он снова попал в полосу тумана, и на этот раз возобновившиеся толчки в душе были так властны, а главное настолько живее

всех внешних восприятий, что он не тотчас и не вполне признал собою, своим пределом и обликом, сутуловатого юношу с бледной небритой щекой и красным ухом, бесшумно проплывшего в зеркале. Догнав себя, он вошел в столовую.

Там, у стола, накрытого давно опочившей прислугой к вечернему чаю, сидел отец и, одним пальцем шурша в черной с проседью бороде, а в пальцах другой руки держа на отлете за упругие зажимчики пенснэ, изучал большой, рвущийся на сгибах, план Берлина. На днях произошел страстный, русского порядка, спор у знакомых о том, как ближе пройти от такой-то до такой-то улицы, по которым, впрочем, никто из споривших никогда не хаживал, и теперь, судя по удивленно недовольному выражению на склоненном лице отца, с двумя розовыми восьмерками по бокам носа, выяснилось, что он был тогда неправ.

— Что тебе? — спросил он, вскинув глаза на сына (может быть, с тайной надеждой, что я сяду, сниму попону с чайника, налью себе, ему). — Папирос? — продолжал он тем же вопросительным тоном, уловив направление взгляда сына, который было зашел за его спину, чтобы достать коробку, стоявшую около его прибора, но отец уже передавал ее слева направо, так что случилась заминка.

— Он ушел? — задал он третий вопрос.

— Нет, — сказал сын, забрав горсть шелковистых папирос.

Выходя из столовой, он еще заметил, как отец всем корпусом повернулся на стуле к стенным часам с таким видом, будто они сказали что-то, а потом начал поворачиваться обратно, но тут дверь закрылась, я не досмотрел. Я не досмотрел, мне не до этого, но и это, и давешние морские дали, и маленькое горящее лицо сестры, и невнятный гул круглой, прозрачной ночи, всё, повидимому, помогало образоваться тому, что сейчас наконец определилось. Страшно ясно, словно душа озарилась бесшумным взрывом, мелькнуло будущее воспоминание, мелькнула мысль, что точно так же, как теперь иногда вспоминается манера покойной матери при слишком громких за столом ссорах делать плачущее лицо и хвататься за висок, вспоминать придется когда-нибудь, с беспощадной, непоправимой остротой, обиженные плечи отца, сидящего за рваной картой, мрачного, в теплой домашней куртке, обсыпанной пеплом и перхотью; и всё это животворно смешалось с сегодняшним впечатлением от синего дыма, льнувшего к желтым листьям на мокрой крыше.

Промеж дверей, невидимые, жадные пальцы отняли у него то, что он держал, и вот снова он лежал на кушетке, но уже не было прежнего томления. Громадная, живая, вытягивалась и загибалась стихотворная строка; на повороте сладко и жарко зажигалась рифма, и тогда появлялась, как на стене, когда поднимаешься по лестнице со свечой, подвижная тень дальнейших строк.

Пьяные от итальянской музыки аллитераций, от желания жить, от нового соблазна старых слов — «хлад», «брег», «ветр», — ничтожные, бранные стихи, которые к сроку появления следующих неизбежно зачахнут, как зачахли одни за другими все прежние, записанные в черную тетрадь; но всё равно: сейчас я верю восхитительным обещаниям еще незастывшего, еще вращающегося стиха, лицо мокро от слез, душа разрывается от счастья, и я знаю, что это счастье — лучшее, что есть на земле.

Берлин, 1934 или 1935 г.

Памяти Л. И. Шигаева

Умер Леонид Иванович Шигаев... Общепринятое некрологическое многоточие изображает должно быть, следы на цыпочках ушедших слов — наследили на мраморе — благоговейно, гуськом... Мне хочется, однако, нарушить эту склепную тишину. Позвольте же мне... Всего несколько отрывочных, сумбурных, в сущности непрошенных... Но всё равно. Мы познакомились с ним лет одиннадцать тому назад, в ужасный для меня год. Я форменно погибал. Представьте себе молодого, весьма еще молодого... беспомощного, одинокого, с вечно воспаленной душой — нельзя прикоснуться — вот как бывает «живое мясо», — притом не сладившего с муками несчастной любви... Я позволю себе остановиться на этом моменте.

Ничего особенного не было в ней, в этой узенькой, стриженной немочке, но когда я, бывало, глядел на нее, на обожженную солнцем щеку, на густо-золотые волосы, ложившиеся от макушки к затылку так

кругло, такими блестящими, желтыми и оливковыми вперемежку, прядями, мне хотелось выть от нежности, от нежности, которая никак не могла просто и удобно во мне уместиться, а застревала в дверях, ни тпру ни ну, громоздкая, с хрупкими углами, ненужная никому, менее всего той девченке. Обнаружилось, одним словом, что раз в неделю, у себя на дому, она изменяла мне с солидным господином, отцом семейства, который, между прочим, приносил с собой колодки для своих башмаков — дьявольская аккуратность. Всё это кончилось цирковым звуком чудовищной плюхи: изменница моя, как покатилась, так и осталась лежать, комком, блестя на меня глазами сквозь пальцы, — в общем, кажется, очень польщенная. Я машинально поискал, чем бы таким в нее швырнуть; увидел фарфоровую сахарницу, которую ей подарил на Пасху; взял эту сахарницу подмышку и вышел, грохнув дверью.

Примечание: это только один из возможных вариантов прощания с нею; я не мало их перебрал, этих невозможных возможностей, когда, еще в первом жару своего пьяного бреда, вспоминал, представлял себе разное — то вот такое грубое наслаждение ладони, то стрельбу из старого парабеллума, в нее и в себя, в нее и в отца семейства, только в нее, только в себя — то, наконец, ледяную иронию, благородную грусть, молчание... — ах, мало ли как бывает, — я давно запомнил, как было на самом деле.

У моего тогдашнего квартирному хозяина, росло-

го берлинца, был на фурункулезном затылке постоянный, гнусно-розовый пластырь с тремя деликатными отверстиями, для вентиляции или выхода гноя, что ли, — а служил я при русском книгоиздательстве, у двух томных с виду господ, но таких в действительности жохов, такого жулья, что, наблюдая их, люди непривычные чувствовали спазмы в груди, как при восхождении на заоблачные вершины. Когда я начал опаздывать и пропускать, с неизбежным наречием «систематически», или же являлся в таком состоянии, что приходилось меня отсылать домой, наши отношения стали невыносимы, и наконец, общими усилиями, при горячем содействии бухгалтера и какого-то неизвестного, зашедшего с рукописью, меня выбросили вон.

Моя бедная юность, моя жалкая юность! Вижу как сейчас страшную комнатку, которую я снимал за двадцать пять марок в месяц, страшные цветочки обоев, страшную лампочку на шнуре, всю ночь бывало горевшую полоумным светом... Я был так несчастен там, так неприлично и роскошно несчастен, что стены ее до сих пор, должно быть, пропитаны бедою и бредом, и не может быть, чтобы после меня обитал в ней веселый кто, посвистывающий, — а всё мне кажется, что и теперь, через десять лет, сидит перед зыбким зеркалом всё такой же бледный, с лоснистым лбом, чернобородый юноша, в одной рваной рубашке, и хлещет спирт, чокаясь со своим отражением. Ах, какое это было время! Я не только никому на свете не был ну-

жен, но даже не мог вообразить такие обстоятельства, при которых кому-либо было бы дело до меня.

Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно — до самых что ни на есть русских галлюцинаций: я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да: отчетливее, чем вижу сейчас свою вечно дрожащую руку, я видел пресловутых пришлецов и под конец даже привык к их присутствию, благо они не очень лезли ко мне. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырьках. Они больше ползали чем ходили, но при всей своей напускной неуклюжести были неуловимы. Помнится, я купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошенько вытянуть их — но они удивительно избежали удара; я опять плеткой... Один из них, ближайший, только замигал, криво зажмурился, как напряженный пес, которого угрозой хотят оторвать от какой-нибудь соблазнительной пакости; другие же, влача задние лапы, расплзлись... Но все они снова потихоньку собрались в кучу, пока я вытирал со стола пролитые чернила и поднимал павший ниц портрет. Вообще говоря, они водились гуще всего в окрестностях моего стола; являлись же откуда-то снизу и, не спеша, липкими животами шурша и чмокая, взбирались — с какими-то карикатурно-матросскими

приемами — по ножкам стола, которые я пробовал мазать вазелином, но это ничуть не помогало, и только когда я, случилось, облюбую этакого аппетитного поганчика, сосредоточенно карабкающегося вверх, да хвачу плеткой или сапогом, он шлепался на пол с толстым жабьим звуком, а через минуту, глядь, уже добирался с другого угла, высунув от усердия фиолетовый язык, — и вот, перевалил и присоединился к товарищам. Их было много, и сперва они казались мне все одинаковыми: черные, с одутловатыми, довольно впрочем добродушными, мордочками, они, группами по пяти, по шести, сидели на столе, на бумагах, на томе Пушкина — и равнодушно на меня поглядывали; иной почесывал себе ногой за ухом, жестко скребя длинным коготком, а потом замирал, забыв про ногу; иной дремал, неудобно налезши на соседа, который впрочем в долгу не оставался: взаимное невнимание пресмыкающихся, умеющих цепенеть в замысловатых положениях. Понемножку я начал их различать и, кажется, даже понадавал им имен соответственно сходству с моими знакомыми или разными животными. Были побольше и поменьше (хотя все вполне портативные), погаже и попрстойнее, с волдырями, с опухолями и совершенно гладкие... Некоторые плевали друг в друга... Однажды они привели с собой новичка, альбиноса, т. е. избела-пепельного, с глазами как кетовые икринки; он был очень сонный, кислый и постепенно уполз.

Усилием воли мне удалось на минуту одолеть на-

важдение; это было усилие мучительное, ибо приходилось отталкивать и держать отодвинутой ужасную железную тяжесть, для которой всё мое существо служило магнитом, — только слегка ослабишь, отпустишь, и опять складывалась мечта, уточняясь, становясь стереоскопической, — и я чувствовал обманчивое облегчение — увы, облегчение отчаяния, — когда снова мечте уступал, и снова холодная куча толстокожих увальной сидела передо мной на столе, сонно и всё же как бы с ожиданием взирая на меня. Я пробовал не только плетку, я пробовал способ старинный и славный, о котором мне сейчас неловко распространяться, тем более что я повидимому применял его не так, не так. В первый раз, впрочем, он подействовал: известное движение руки, относящееся к религиозному культу, неторопливо произведенное на высоте десяти вершков над плотной кучей нечисти, прошло по ней как накаленный утюг — с приятным и вместе противным сочным таким шипением, и корчась от ожогов подлещи мои разомкнулись и попадали со спелыми шлепками на пол... но, уже когда я повторил опыт над новым их собранием, действие оказалось слабее, а уже затем они вообще перестали как-либо реагировать, т. е. у них очень скоро выработался некий иммунитет, — но довольно об этом... Рассмеявшись — что мне оставалось другого? — рассмеявшись, я вслух произносил «тьфу» (единственное, кстати, слово, заимствованное русским языком из лексикона чертей; смотри также немецкое «Teufel») и, не раздеваясь, ло-

жился спать — поверх одеяла, конечно, так как боялся чего доброго наткнуться на нежелательных посетителей. Так проходили дни — если можно говорить о днях, — это были не дни, а вневременная муть, и когда я очнулся, то оказалось, что катаюсь по полу, сцепившись с моим здоровенным квартирным хозяином, среди мебельного бурелома. Посредством отчаянного рывка я высвободился и вылетел из комнаты, а оттуда на лестницу, — и вот уже шел по улице, дрожащий, растерзанный, с каким-то мерзким куском чужого пластыря всё пристававшим к пальцам, с ломотой в теле и звоном в голове, — но почти совсем трезвый.

Вот тогда-то и приглубил меня Л. И. «Голубчик, да что с вами?» (Мы уже были слегка знакомы, приходил в издательство, составлял какой-то карманный словарьк русско-немецких технических терминов). «Постойте, голубчик, посмотрите же на себя...» Тут же на углу (он выходил из колбасной, с ужином в портфеле) я разрыдался, и тогда, ни слова не говоря, Л. И. отвел меня к себе, уложил на диван, накормил ливерной колбасой и бульоном магги, накрыл ватным пальто с облезлым барашковым воротником, я дрожал и всхлипывал, а погода заснул.

Одним словом, я остался у него, прожил так недели две, после чего снял комнату рядом, и мы продолжали видеться ежедневно. А казалось — что было между нами общего? Разные во всем! Был он почти вдвое старше меня, положительный, благообразный, полный, обыкновенно в визитке, чистоплотный и до-

мовитый, как большинство наших домовитых холостяков: надо было видеть, и главное слышать, с какой тщательностью он по утрам чистил свои панталоны, — этот звук щетки так связан с ним, так первенствует в памяти о нем, — особенно ритм чистки, особенно паузы между припадками шарканья, когда он останавливался и осматривал подозрительное место, скреб по нему ногтем или же поднимал на свет... — о, эти его невыразимые (как он их называл), пропускавшие в коленях синеву неба, невыразимые его, невыразимо одухотворенные этим вознесением!

В комнате у него была наивная чистота бедности. Он на письмах ставил штемпелем (штемпелем!) свой адрес и номер телефона. Он умел готовить ботвинью. Он мог часами демонстрировать какую-нибудь по его словам гениальную вещь, особенно запонку или зажигалку, проданную ему уличным краснобаем (причем сам Л. И. не курил), или своих питомиц, трех маленьких черепах с отвратительными старушечьими шеями; одна из них при мне погибла, треснувшись со стола, по которому любила бегать — с видом торопящегося калеки — кругом по краю, думая, что уходит всё прямо, далеко, далеко. Да, вот еще: я сейчас вспомнил так ясно — на стене, над его постелью, гладенькой, как арестантская койка, — две гравюры (вид на Неву из-за ростральной колонны и портрет Александра I), случайно приобретенные им в минуту тоски по государству, которую он отличал от тоски по земле.

Л. И. был совершенно лишен чувства юмора, совершенно равнодушен к искусству, к литературе и к тому, что принято называть природой. Если уж заходил разговор о поэзии, скажем, то он отделялся фразами вроде: «Нет, что там ни говорить, а Лермонтов как-то нам ближе, чем Пушкин»; когда же я к нему приставал, чтобы он из Лермонтова привел хотя бы одну строчку, он явно делал мысленное усилие припомнить что-нибудь из рубинштейновской оперы или же отвечал: «Давненько не перечитывал, всё это дела давно минувших дней, вообще отстаньте от меня, Виктор, голубчик». По воскресеньям, летом, он неизменно отправлялся на прогулку за город, причем знал окрестности Берлина поразительно подробно и гордился знанием «чудесных мест», другим неизвестных, — это было наслаждение чистое, самодовлеющее, сродное, быть может, восторгам коллекционеров, оргиям любителей каталогов, иначе непонятно, зачем всё это нужно было: это кропотливое составление маршрута, это жонглирование способами передвижения — туда поездом, назад парохомом до такого-то места, а там автобусом, и стоит это столько-то, и никто, даже сами немцы, не знают, что так дешево. Но когда мы с ним, наконец, оказывались в лесу, выяснялось, что он не отличает пчелы от шмеля, ольхи от орешника, и всё окружающее воспринимает совершенно условно и как бы собирательно: зелень, погода (так он называл именно хорошую погоду), пернатое царство, разные букашки, — и он даже обижался, если я, выросший в

деревне, отмечал потехи ради, чем разнится окрестная природа от средне-русской: он находил, что существенной разницы нет, а всё дело в сентиментальных ассоциациях.

Он любил растянуться в тени на травке, опереться на правый локоть и длительно обсуждать международное положение или рассказывать о своем брате Василии, — повидимому лихом малом, женолюбe, музыканте, забияке, — еще в доисторические времена утонувшем летнею ночью в Днепре, очень шикарная смерть... Но всё это выходило в передаче милого Л. И. так скучно, так основательно, так закругленно, что когда он, бывало, во время привала в лесу вдруг спрашивал с доброй улыбкой: «Я вам никогда не рассказывал, как Васюк на поповской козе верхом проехался?» — хотелось крикнуть: «Рассказывали, рассказывали, — ради Бога, не надо!»

Чего бы я не дал, если б можно было вот сейчас услышать вновь его неинтересную речь, увидеть его рассеянные милые глаза, порозовевшую от жары лысину и седоватые виски... В чем же таилось его обаяние, раз всё так скучно было? Отчего его так любили все, так льнули к нему? Что он делал для того, чтобы так быть любимым? Не знаю. Не знаю, что ответить. Знаю только, что мне бывало не по себе, когда он утром уходил в свой Научный Институт (где время он проводил в чтении «Экономической Жизни», из которой бисерным почерком выписывал какие-то по его мнению в высшей степени показательные и знамена-

тельные места) или на частный урок русского языка, который извечно преподавал престарелой чете и зятю престарелой четы: общаясь с ними, он делал множество неправильных заключений насчет немецкого быта, коего наши интеллигенты (самый ненаблюдательный народ в мире) считают себя знатоками. Да, мне бывало тогда не по себе, словно я предчувствовал, что с ним случится то, что теперь в Праге случилось: разрыв сердца на улице. А как он был счастлив получить должность в этой самой Праге, как сиял... Помню с живостью необыкновенной, как мы провожали его. Подумайте — человек получил возможность читать лекции о своем любимом предмете! Он оставил мне ворох старых журналов (ничто так не стареет и не пылится, как советский журнал), башмачные колодки (колодкам было суждено преследовать меня) и новенькое самопишущее перо (на память). Очень он пекся обо мне уезжая, — и я знаю, что потом, когда переписка наша как-то увяла и прекратилась, и жизнь моя провалилась опять в темноту — в орущую тысячами голосов темноту, из которой вряд ли удастся мне вырваться, — знаю, говорю, что Л. И. много думал обо мне, расспрашивал кое-кого, пытался косвенно помочь... Был великолепный летний день, когда он уезжал; у некоторых из провожавших глаза упорно наполнялись влагой; близорукая еврейская барышня в белых перчатках, с лорнетом, притащила целый снопок маков и васильков; Л. И. неумело их нюхал и улыбался. Думал ли я, что вижу его в последний раз?

Конечно, думал. Именно так и думал: вот я вижу тебя в последний раз, ибо я думаю так всегда и обо всём, обо всех. Моя жизнь — сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет.

Берлин, 1934 г.

Посещение музея

Несколько лет тому назад один мой парижский приятель, человек со странностями, чтобы не сказать более, узнав, что я собираюсь провести два-три дня вблизи Монтизера, попросил меня зайти в тамошний музей, где, по его сведениям, должен был находиться портрет его деда кисти Леруа. Улыбаясь и разводя руками, он мне поведал довольно дымчатую историю, которую я, признаться, выслушал без внимания, отчасти из-за того, что не люблю чужих навязчивых дел, но главное потому, что всегда сомневался в способности моего друга оставаться по сю сторону фантазии. Выходило приблизительно так, что после смерти деда, скончавшегося в свое время в петербургском доме во время японской войны, обстановка его парижской квартиры была продана с торгов, причем после неясных странствий портрет был приобретен музеем города, где художник Леруа родился. Моему приятелю хотелось узнать, там ли действительно портрет, и,

если там, можно ли его выкупить, и, если можно, то за какую цену. На мой вопрос, почему же ему с музеем не списаться, он отвечал, что писал туда несколько раз, но не добился ответа.

Про себя я решил, что просьбы не исполню: сошлюсь на болезнь или на изменение маршрута. От всяческих достопримечательностей, будь то музей или старинное здание, меня тошнит, да кроме того поручение симпатичного чудака мне казалось решительно вздорным. Но так случилось, что, бродя в поисках писчебумажной лавки по мертвым монтизерским улицам и кляня шпиль одного и того же длинношеюго собора, выраставшего в каждом пролете, куда ни повернешь, я был застигнут сильным дождем, который немедленно занялся ускорением кленового листопада: южный октябрь держался уже на волоске. Я кинулся под навес и очутился на ступенях музея.

Это был небольшой, из пестрых камней сложенный дом с колоннами, с золотой надписью над фресками фронтона и с двумя каменными скамьями на львиных лапах по бокам бронзовой двери; одна ее половина была отворена, и за ней казалось темно по сравнению с мерцанием ливня. Я постоял на ступеньках, которые, несмотря на выступ крыши, постепенно становились крапчатыми, а затем, видя, что дождь, зарядил надолго, я от нечего делать решил войти. Только я ступил на гладкие, звонкие плиты вестибюля, как в дальнем углу громыхнул табурет, и навстречу мне поднялся, отстраняя газету и глядя на меня вверх

очков музейный сторож, — банальный инвалид с пустым рукавом. Заплатив франк и стараясь не смотреть на какие-то статуи в сенях (столь же условные и незначительные, как первый номер цирковой программы), я вошел в залу.

Всё было как полагается: серый цвет, сон вещества, обезпредметившаяся предметность; шкаф со стертыми монетами, лежащими на бархатных скатках, а наверху шкапа — две совы, — одну звали в буквальном переводе «Великий князь», другую «Князь средний»; покоились заслуженные минералы в открытых гробах из пыльного картона; фотография удивленного господина с эспаньолкой высилась над собранием странных черных шариков различной величины, занимавших почетное место под наклонной витриной: они чрезвычайно напоминали подмороженный навоз, и я над ними невольно задумался, ибо никак не мог разгадать их природу, состав и назначение. Сторож, байковыми шажками следовавший за мной, но всё остававшийся на скромном от меня расстоянии, теперь подошел, одну руку держа за спиной, а призрак другой в кармане, и переглатывая, судя по кадыку. «Что это?» — спросил я про шарики. — «Наука еще не знает, — отвечал он, несомненно зазубрив фразу. — Они были найдены, — продолжал он тем же фальшивым тоном, — в тысяча восемьсот девяносто пятом году муниципальным советником Луи Прадье, кавалером почетного ордена», — и дрожащим перстом он указал на снимок. «Хорошо, — сказал я, — но кто и почему

решил, что они достойны места в музее?» «А теперь обратите внимание на этот череп!» — бодро крикнул старик, явно меняя тему беседы. «Интересно всё-таки знать, из чего они сделаны», — перебил я его. «Наука...» — начал он сызнова, но осекся и недовольно взглянул на свои пальцы, к которым пристала пыль со стекла.

Я еще осмотрел китайскую вазу, привезенную вероятно морским офицером; компанию пористых окаменелостей; бледного червяка в мутном спирту; красно-зеленый план Монтизера в XVII веке; и тройку ржавых инструментов, связанных траурной лентой, — лопата, цапка, кирка. «...Копать прошлое», — рассеянно подумал я, но уж не обратился за разъяснением к сторожу, который, лавируя между витрин, бесшумно и робко за мной следовал. За первой залой была другая, как будто последняя, и там, посередине, стоял, как грязная ванна, большой саркофаг, а по стенам были развешаны картины.

Сразу заприметив мужской портрет между двумя гнусными пейзажами (с коровами и настроением), я подошел ближе и был несколько потрясен, найдя то самое, существование чего дотоле казалось мне попутной выдумкой блуждающего рассудка. Весьма дурно написанный маслом мужчина в сюртуке, с бакенбардами, в крупном пенсне на шнурке, смахивал на Оффенбаха, но, несмотря на подлую условность работы можно было, пожалуй, разглядеть в его чертах как бы горизонт сходства с моим приятелем. В уголке

по черному фону была кармином выведена подпись «Леруа», — такая же бездарная, как само произведение.

Я почувствовал у плеча уксусное дыхание и, обернувшись, увидел добрые глаза сторожа.

— Скажите, — спросил я, — если б, положим, кто-нибудь захотел купить эту или другую картину, — к кому следовало бы обратиться?

— Сокровища музея, — честь города, — отвечал старик, — а честь не продается.

Я поспешил согласиться, боясь его красноречия, но всё-таки попросил адрес опекуна музея. Он попробовал отвлечь мое внимание повестью о саркофаге, — однако я настаивал на своем. Наконец старик назвал некоего мосье Годара и объяснил, где его отыскать.

Мне, прямо скажу, понравилось, что портрет есть. Весело присутствовать при воплощении мечты, хотя бы и не своей. Я решил немедленно закончить дело, а когда я вхожу во вкус то остановить меня невозможно. Скорым и звонким шагом выйдя из музея, я увидел, что дождь перестал, по небу распространилась синева, женщина в забрызганных чулках катила на серебряном велосипеде, и только на окрестных горах еще дымились тучи. Собор снова заиграл со мною в прятки, но я перехитрил его. Едва не попав под бешеные шины красного автокара, набитого поющими молодыми людьми, я пересек асфальтовый большак

и через минуту звонил у калитки мосье Годара. Он оказался худеньким пожилым человеком в высоком воротничке, в пластроне, с жемчужиной в узле галстука, лицом очень похожим на белую борзую, — мало того, он совсем по-собачьи облизнулся, наклеивая марку на конверт, когда я вошел в его небольшую, но богато обставленную комнату, с малахитовой чернильницей на письменном столе и странно знакомой китайской вазой на камине. Две фехтовальные шпаги были скрещены над зеркалом, в котором отражался его узкий, седой затылок, и несколько фотографий военного корабля приятно прерывали голубую флору обоев.

— Чем могу вам служить? — спросил он, бросив запечатанное им письмо в мусорную корзину: этот жест показался мне необычным, но я не счел нужным вмешаться. В кратких словах я изложил причину моего прихода и даже назвал крупную сумму, с которой мой друг был готов расстаться, хотя, правда, он просил меня ее не называть, а дожждаться условий музея.

— Всё это очень мило, — сказал мосье Годар, — да только вы ошибаетесь: такой картины нет в нашем музее.

— Как нет? — воскликнул я, — да я ее только что видел! Гюстав Леруа, портрет русского дворянина.

— Одно полотно Леруа у нас действительно имеется, — сказал мосье Годар, перелистав клеенчатую тетрадь и длинным черным ногтем остановившись

на найденной строке. — Но это не портрет, а деревенский мотив: Возвращение стада.

Я повторил, что картину видел своими глазами пять минут тому назад, и что никакая сила не заставит меня в этом усомниться.

— Согласен, — сказал мосье Годар, — но и я тоже не сумасшедший. Я состою хранителем нашего музея вот уже скоро двадцать лет и знаю этот каталог как молитву Господню. Тут сказано «Возвращение стада», значит стадо возвращается, и ежели только дед вашего друга не изображен в виде пастуха, я не могу допустить, что его портрет у нас существует.

— Он в сюртуке, — крикнул я, — клянусь вам, что он в сюртуке!

— А как вообще, — спросил мосье Годар подозрительно, — вам понравился наш музей? Вы саркофаг оценили?

— Послушайте, — и была уже, кажется, вибрация в моем голосе, — сделайте мне одолжение, пойдете туда сию минуту, и условимся так: если портрет висит там, то вы мне его продадите.

— А если его нет? — любопытствовал мосье Годар.

— Тогда я вам заплачу ту же сумму.

— Ладно, — сказал он. — Вот возьмите карандаш и красным, красным концом запишите мне это.

Я сгоряча исполнил его требование. Прочтя мою

подпись, он пожаловался на трудность произношения русских фамилий, расписался под ней сам и, быстро сложив листок, сунул его в карманчик жилета.

— Пойдемте, — сказал он, высвобождая манжету.

По дороге он заглянул в лавку и купил фунтик липких леденцов, которыми стал настойчиво меня угощать, а когда я наотрез отказался, попытался мне высыпать штучки две в руку, — я отдернул ее, несколько леденцов упало на панель, он подобрал их и догнал меня рысью. Когда мы приблизились к музею, то увидели, что перед ним стоит красный автокар — пустой.

— Ага, — сказал мосье Годар довольненьким голосом, — я вижу, что у нас сегодня много посетителей.

Он снял шляпу и, держа ее перед собой, чинно вошел по ступеням.

В музее было нехорошо. Доносились вакхические восклицания, бравурный смех и как будто даже шум потасовки. Мы вошли в первую залу; там старичек сторож удерживал двух святотатцев с какими-то праздничными эмблемами в петличках, и вообще очень сизо-румяных и энергичных, старавшихся добыть из-под стекла черные чаврики муниципального советника. Прочие молодцы из той же сельско-спортивной корпорации громко издевались, кто над червем в спирту, кто над черепом. Один весельчак восхищался трубами парового отопления, будто принятыми им за экспонат; другой целился в сову из кулака и

пальца. Всего было человек тридцать, так что получалась толкотня и густой шум от шагов и возгласов.

Мосье Годар захлопал в ладоши и указал на плакат с надписью: «Посетители музея должны быть прилично одеты». Затем он протиснулся — и я за ним — во вторую залу. Всё общество тотчас повалило туда же. Я подтолкнул Годара к портрету, и он застыл перед ним, выставив грудь, потом чуть попятился, словно им любуюсь, и наступил своим дамским каблуком на чью-то ногу.

— Прекрасная картина, — воскликнул он вполне искренне, — что-ж, не будем мелочны. Вы оказались правы, а в каталоге должно быть ошибка.

Говоря это, он отвлеченными пальцами достал наш контракт и разорвал его на мелкие части, которые, как снежинки, посыпались в массивную плевательницу.

— Кто эта старая обезьяна? — спросил относительно портрета некто в полосатом нательнике, а так как дед моего приятеля был изображен с сигарой в руке, другой балагур вынул папиросу и собрался у портрета прикурить.

— Давайте, условимся о цене, — сказал я. — И во всяком случае уйдемте отсюда.

— Пропустите, господа, — крикнул мосье Годар, отстраняя любопытных. В конце залы оказался проход, которого я прежде не заметил, мы пробились

туда. — Я ничего не могу решить, — говорил мосье Годар, перекрикивая шум. — Решимость только тогда хороша, когда подкреплена законом. Я должен сперва посоветоваться с мэром, который только-что умер и еще не избран. Думаю, что купить портрет вам не удастся, но тем не менее хочу вам показать еще другие наши сокровища.

Мы очутились в зале несколько больших размеров. Там, на длинном столе под стеклом, раскрыты были толстые, плохо выпеченные книги с желтыми пятнами на грубых листах. Вдоль стен стояли военные куклы в ботфортах с раструбами.

— Давайте, обсудим, — взмолился я, порываясь направить пируэты мосье Годара к плюшевому дивану в углу. Но мне помешал сторож. Потрясая единственной рукой, он догонял нас, сопровождаемый веселым табуном молодых людей, из которых один надел себе на голову медный шлем с рембрандтовским бликом.

— Снимите, снимите! — воскликнул мосье Годар, и от чьего-то толчка шлем со звоном слетел с хулигана.

— Дальше, — сказал мосье Годар, дергая меня за рукав, и мы попали в отдел античной скульптуры.

На минуту я заблудился среди громадных мраморных ног и дважды обежал кругом исполинского колена, покамест не увидел опять мосье Годара, который искал меня за белой пятой соседней великанши. Тут какой-то человек в котелке, видно на нее взобрав-

шийся, вдруг с большой вышины упал на каменный пол. Его стал поднимать товарищ, но оба были навеселе, и, махнув на них рукой, мосье Годар полетел в следующую комнату, где сияли восточные ткани, гончие мчались по лазурным коврам, и на тигровой шкуре лежал лук с колчаном.

Но странное дело: от простора и пестроты было только тяжело, мутно, — и потому ли, что все новые посетители проносились мимо, или потому, что мне хотелось поскорее выбраться из ненужно удлинившегося музея, чтобы в свободной тишине закончить с мосье Годаром деловой разговор, но меня охватила какая-то тревога. Между тем мы перенеслись еще в одну залу, которая уж совсем была громадная, судя по тому, что в ней помещался целый скелет кита, подобный остову фрегата, а далее открывались еще и еще залы, косо лоснились полотна широких картин, полные грозowych облаков, среди которых плавали в синих и розовых ризах нежные идола религиозной живописи, и всё это разрешалось внезапным волнением туманных завес, и зажигались люстры, и в освещенных аквариумах рыбы виляли прозрачными шлейфами, а когда мы взбежали по лестнице, то сверху, из галереи, увидели внизу толпу седых людей и зонтиков, осматривающих громадную модель мироздания.

Наконец, в каком-то пасмурном, но великолепном помещении, отведенном истории паровых машин мне удалось остановить на мгновение моего беспечного вожака.

— Довольно, — крикнул я, — я уйду. Мы поговорим завтра...

Его уже не было. Я повернулся, увидел в верхке от себя высокие колеса вспотевшего локомотива и долго пытался найти между макетами вокзалов обратный путь... Как странно горели лиловые сигнальные огни во мраке за веером мокрых рельсов, как сжималось мое бедное сердце... Вдруг опять всё переменялось: передо мной тянулся бесконечно длинный проход, где было множество конторских шкапов и неуловимо спешивших людей, а кинувшись в сторону, я очутился среди тысячи музыкальных инструментов, — в зеркальной стене отражалась амфилада роялей, а посредине был бассейн с бронзовым Орфеем на зеленой глыбе. Тема воды на этом не кончилась, ибо, метнувшись назад, я угодил в отдел фонтанов, ручьев, прудков, и трудно было итти по извилистому и склизкому их краю.

Изредка, то с одной стороны, то с другой, каменные лестницы с лужами на ступенях, странно пугавшие меня, уходили в туманные пропасти, где раздавались свистки, звон посуды, стук пишущих машинок, удары молотков и много других звуков, словно там были какие-то выставочные помещения, уже закрывающиеся или еще недостроенные. Потом я попал в темноту, где наткнулся на неведомую мебель, покамест, увидя красный огонек, я не вышел на платформу, лягнувшую подо мной... а за ней вдруг открылась светлая, со вкусом убранная гостиная в стиле ампира, но ни

души, ни души... Мне уже было непередаваемо страшно, но всякий раз как я поворачивался и старался вернуться по уже пройденным переходам, я оказывался в еще невиданном месте, — в зимнем саду с гортензиями и разбитыми стеклами, за которыми чернела искусственная ночь, или в пустой лаборатории, с пыльными алембиками на столах. Наконец я вбежал в какое-то помещение, где стояли вешалки, чудовищно нагруженные черными пальто и каракулевыми шубами; там, в глубине за дверью, вдруг грянули аплодисменты, но когда я дверь распахнул, никакого театра там не было, а просто мягкая муть, туман, превосходно подделанный, с совершенно убедительными пятнами расплывающихся фонарей. Более, чем убедительными! Я двинулся туда, и сразу отрадное и несомненное ощущение действительности сменило наконец всю ту нереальную дрянь, среди которой я только что метался. Камень под моими ногами был настоящая панель, осыпанная чудно пахнущим, только-что выпавшим снегом, на котором редкие пешеходы уже успели оставить черные, свежие следы. Сначала тишина и снежная сырость ночи, чем-то поразительно знакомые, были приятны мне после моих горячечных блужданий. Доверчиво я стал соображать, куда я собственно выбрался, и почему снег, и какие это фонари преувеличенно, но мутно лучащиеся там и сям в коричневом мраке. Я осмотрел и, нагнувшись, даже тронул каменную тумбу... потом взглянул на свою ладонь, полную мокрого, зернистого холодка, словно думая, что прочту на ней

объяснение. Я почувствовал, как легко, как наивно одет, но ясное сознание того, что из музейных дебрей я вышел на волю, опять в настоящую жизнь, это сознание было еще так сильно, что в первые две-три минуты я не испытывал ни удивления, ни страха. Продолжая неторопливый осмотр, я оглянулся на дом, у которого стоял — и сразу обратил внимание на железные ступени с такими же перилами, спускавшиеся в подвальный снег. Что-то меня кольнуло в сердце и уже с новым, беспокойным любопытством, я взглянул на мостовую, на белый ее покров, по которому тянулись черные линии, на бурое небо, по которому изредка промахивал странный свет, и на толстый паразит поодаль: за ним чуялся провал, поскрипывало и булькало что-то, а дальше, за впадиной мрака, тянулась цепь мохнатых огней. Промокшими туфлями шурша по снегу, я прошел несколько шагов и всё поглядывал на темный дом справа: только в одном окне тихо светилась лампа под зеленым стеклянным колпаком, — а вот запертые деревянные ворота, а вот, должно-быть, — ставни спящей лавки... и при свете фонаря, форма которого уже давно мне кричала свою невозможную весть, я разобрал кончик вывески: «...инка сапог», — но не снегом, не снегом был затерт твердый знак. «Нет, я сейчас проснусь», — произнес я вслух и, дрожа, с колотящимся сердцем, повернулся, пошел, остановился опять, — и где-то раздавался, удаляясь, мягкий ленивый и ровный стук копыт, и снег ермолкой сидел на чуть косо́й тумбе, и он же смутно

белел на поленнице из-за забора, и я уже непоправимо знал, где нахожусь. Увы! это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная. Полупризрак в легком заграничном костюме стоял на равнодушном снегу, октябрьской ночью, где-то на Мойке или на Фонтанке, а может быть и на Обводном канале, — и надо было что-то делать, куда-то итти, бежать, дико оберегать свою хрупкую, свою незаконную жизнь. О, как часто во сне мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но теперь это была действительность, было действительным всё, — и воздух, как бы просеянный снегом, и еще незамерзший канал, и рыбный садок, и особенная квадратность темных и желтых окон. Навстречу мне из тумана вышел человек в меховой шапке, с портфелем подмышкой и кинул на меня удивленный взгляд, а потом еще обернулся, пройдя. Я подождал, пока он скрылся, и тогда начал страшно быстро вытаскивать всё, что у меня было в карманах, и рвать, бросать в снег, утапывать, — бумаги, письмо от сестры из Парижа, пятьсот франков, платок, папиросы, но для того, чтобы совершенно отделаться от всех эмигрантских чешуй необходимо было бы содрать и уничтожить одежду, белье, обувь, всё, — остаться идеально нагим, и хотя меня и так трясло от тоски и холода, я сделал, что мог.

Но довольно. Не стану рассказывать ни о том, как меня задержали, ни о дальнейших моих испытаниях.

Достаточно сказать, что мне стоило невероятного терпения и трудов обратно выбраться за границу, и что с той поры я заклился исполнять поручения чужого безумия.

Париж, 1938 г.

Набор

Он был стар, болен, никому на свете не нужен и в бедности дошел до той степени, когда человек уже не спрашивает себя, чем будет жить завтра, а только удивляется, чем жил вчера. Кроме болезни, у него не было на свете никаких личных привязанностей. Его старшая, незамужняя сестра, с которой он в двадцатых годах выехал из России, давно умерла: он отвык от нее, привыкнув к пустоте, имеющей ее форму; но нынче, в трамвае, возвращаясь с кладбища, где был на похоронах профессора Д., он с бесплодным огорчением размышлял о том, что могила ее запущена, краска на кресте потрескалась, а имя уже едва отличимо от липовой тени, скользящей по нему, стирающей его. На похоронах профессора Д. присутствовало с дюжину старых смиренных людей, постыдно связанных пошлым равенством смерти, стоявших, как в таких случаях бывает, и вместе и порознь, в каком-то сокрушенном ожидании, пока совершался прерываемый светским

волнением ветвей бедный обряд; пекло невыносимое натошак солнце, а он был из приличия в пальто, скрывавшем кроткий срам костюма. И хотя профессора Д. он знал довольно близко, и хотя он старался прямо и твердо перед глазами держать на этом жарком, счастливом июльском ветру уже зыблющийся, и заворачивающийся, и рвущийся из рук добрый образ покойного, но мысль всё соскальзывала в ту сторону памяти, где со своими неизменными привычками деловито воскресала сестра, такая же как он сам, грузная, полная, в очках той же как у него силы на совершенно мужском, крупном и красном, словно налакированном носу, одетая в серый жакет, какой носят и по сей день русские общественные деятельницы: чудная, чудная душа — на скорый взгляд, живущая умно, умело и бойко, но как ни странно, с удивительными просветами грусти, известной ему одному, за которые собственно он и любил ее так.

В трамвае среди чужой берлинской тесноты, до самого конца уцелел еще один из бывших на кладбище — мало знакомый Василию Ивановичу старый присяжный поверенный (тоже никому, кроме как мне, не нужный), и Василий Иванович некоторое время занимался вопросом, заговорить ли с ним, если тасовка трамвайной толпы случайно сведет их вместе; тот, впрочем, не отрываясь смотрел в окно на вращение улиц с выражением иронии на сильно запущенном лице. Наконец (и этот момент я как раз и схватил, после чего уже ни на минуту не упускал из вида рек-

рута) Василий Иванович вышел, и так как был тяжел и неуклюж, то кондуктор помог ему слезть на продолговатый каменный остров: слезши, он с неторопливой благодарностью принял сверху собственную руку, которую за рукав еще держал кондуктор, медленно переставил ступни, повернулся и, выглядывая опасность, потянулся к асфальту с намерением перейти через улицу.

Перешел благополучно. Недавно, когда дрожащий иерей предложил приступить к пению вечной памяти, Василий Иванович так долго, с таким трудом, опускался на колено, что всё уже было кончено, когда, наконец, опустился, и тогда он уже не мог подняться, и старик Тихоцкий помог ему, как вот сейчас помог кондуктор. Это двойное впечатление усугубило чувство особенного, как бы чем-то уже сродного земле, утомления, в котором однако была своя приятность, и рассудив, что всё равно рано, чтобы направиться к хорошим, скучным людям, у которых он столовался, Василий Иванович указал себе самому тростью на скамью и медленно, до предпоследней секунды не даваясь силе притяжения, сел, сдался.

Хотелось бы всё-таки понять, откуда оно, это счастье, этот наплыв счастья, обращающего сразу душу во что-то большое, прозрачное и драгоценное. Ведь помилуйте, человек стар, болен, на нем уже метка смерти, он всех растерял, кого любил: жену, еще в России ушедшую от него к известному черносотенцу доктору Малиновскому, газету, в которой работал,

читателя, друга детства и тезку, милейшего Василия Ивановича Малера, замученного в провинции в годы гражданской войны, брата, умершего в Харбине от рака, сестру.

Он опять с досадой подумал о зыбкости ее могилы, уже переходившей ползком в стан природы; вот уже лет семь, как он перестал о ней печься, отпустив на волю. Ни с того ни с сего с резкой яркостью Василий Иванович вдруг увидел в воображении человека, которого сестра когда-то любила, — единственного человека, которого она любила, — гаршинской породы, полусумасшедшего, чахоточного, обаятельного, с угольно-черной бородой и цыганскими глазами, неожиданно застрелившегося из-за другой, кровь на манишке, маленькие ноги в щегольских штиблетах. Затем, безо всякой связи, он сестру увидел подростком, с новенькой головой, стриженной после тифа, объясняющую ему в диванной сложную систему прикосновений к предметам, которую она выработала, так что жизнь ее превратилась в постоянные хлопоты по сохранению таинственного равновесия между вещами: тронуть стену проходя, скользнуть ладонью левой руки, правой, — как бы окуная руки в ощущение предмета, чтобы были чистые, в мире с миром, отражаясь друг в дружке, а впоследствии она интересовалась главным образом женским вопросом, учреждала какие-то женские аптеки и безумно боялась покойников, потому что, как говорила, не верила в Бога.

Так вот: потерявший почти десять лет тому назад

эту сестру, которую за ночные слезы особенно нежно любил; воротясь только что с кладбища, где дурацкая канитель с землей оживила воспоминание; столь тяжёлый, слабый, нерасторопный, что не мог ни встать с колен, ни сойти с трамвайной площадки (протянутые вниз руки милосердно склонившегося кондуктора, — и по-моему еще кто-то помогал из пассажиров); усталый, одинокий, толстый, стыдящийся со всеми тонкостями старомодной стыдливости своего заштопанного белья, истлевающих панталон, всей своей нехоленой, никем не любимой, дурно обставленной тучности, Василий Иванович был однако преисполнен какого-то неприличного счастья, происхождения неизвестного, не раз за всю его долгую и довольно таки крутую жизнь удивлявшего его своим внезапным нашествием. Он сидел совсем тихо, положив руки (изредка только расправляя пальцы) на загиб трости и расставя широкие ляжки, так что округлое основание живота в раме расстегнутого пальто покоилось на краю скамейки. Пчелы обслуживали цветущую липу над ним; отсюда, из ее нарядной гущи, плыл мутный медовый запах, а внизу, в ее тени, вдоль панели, ярко желтела цветочная осыпь, похожая на протертый навозец. Через весь газон посредине сквера лежала красная мокрая кишка, и подальше из нее била сияющая вода с разноцветным призраком в ореоле брызг. Между кустами боярышника и выдержанной в стиле шалэ публичной уборной сквозила сизая улица; там стоял

толстым шутом рекламный столб, и проходил с бряцанием и воем трамвай.

Этот сквер, эти розы, эту зелень во всех их незамысловатых преображениях он видел тысячу раз, но всё насквозь сверкало жизнью, новизной, участием в его судьбе, когда с ним и со мной случались такие припадки счастья. Рядом, на ту же в темно-синюю краску выкрашенную, горячую от солнца, гостеприимную и равнодушную скамейку, сел господин с русской газетой. Описать этого господина мне трудно, да и незачем, автопортрет редко бывает удачен, ибо в выражении глаз почти всегда остается напряженность: гипноз зеркала, без которого не обойтись. Почему я решил, что человека, с которым я сел рядом, зовут Василием Ивановичем? Да потому, что это сочетание имен, как кресло, а он был широк и мягок, с большим домашним лицом, и, положив руки на трость, сидел удобно, неподвижно, — только сновали зрачки за стеклами очков, от облака, идущего в одну сторону, к идущему в другую грузовику или от воробьихи, кормящей на гравии сына, к прерывистым дергающимся движениям, делаемым маленьким деревянным автомобилем, который за нитку тянул за собой забывший о нем ребенок (вот упал на бок, но продолжал ехать). Некролог профессора Д. занимал видное место в газете, и вот, спеша как-нибудь помрачнее и потипичнее мебелировать утро Василия Ивановича, я и устроил ему эту поездку на похороны, хотя писали, что день будет объявлен особо, но повторяю, я спешил, да и хотелось

мне, чтобы это было так, — ведь он был именно из тех, которых видишь на русских торжествах за границей, стоящими как бы в сторонке, но тем самым подчеркивающими обыкновенность своего присутствия, и так как в мягких чертах его полного бритого лица было что-то напоминающее мне черты московской общественной дамы А. М. Аксаковой, которую помню с детства — она приходилась мне дальней родственницей, — я почти нечаянно, но уже с неудержимыми подробностями, ее сделал его сестрою, — и всё это совершилось с головокружительной скоростью, потому что мне во что бы то ни стало нужно было вот такого, как он, для эпизода романа, с которым вожусь третий год. Какое мне было дело, что толстый старый этот человек, которого я сначала увидел опускаемым из трамвая, и который теперь сидел рядом, вовсе, может быть, и не русский? Я был так доволен им! Он был такой вместительный! По странному стечению чувств, мне казалось, что я заражаю незнакомца тем искрометным счастьем, от которого у меня мороз пробегает по коже... Я желал, чтобы, несмотря на старость, на бедность, на опухоль в животе, Василий Иванович разделял бы страшную силу моего блаженства, соучастием искупая его беззаконность; так, чтобы оно перестало быть ощущением никому неизвестным, редчайшим видом сумасшествия, чудовищной радугой во всю душу, а сделалось хотя бы двум только человекам доступным, стало бы предметом их разговора, и через это приобрело бы житейские права, которых

иначе мое дикое, душное счастье лишено совершенно. Василий Иванович (я упорствовал в этом названии) снял черную фетровую шляпу, как будто не с целью освежить голову, а затем именно, чтобы приветствовать мои мысли. Он медленно погладил себя по темени, и тени липовых листьев прошли по жилам большой руки и опять легли на седоватые волосы. Всё так же медленно он повернул голову ко мне, взглянул на мою газету, на мое заgrimированное под читателя лицо, и, величаво отвернувшись, снова надел шляпу.

Но он был уже мой. Вот с усилием он поднялся, выпрямился, переложил трость из одной руки в другую и, сделав сперва короткий пробный шаг, спокойно двинулся прочь — если не ошибаюсь, навеки, — но как чуму он уносил с собой необыкновенную заразу и был заповедно связан со мной, обреченный появиться на минуту в глубине такой-то главы, на повороте такой-то фразы.

Мой представитель был теперь один на скамейке, и так как он передвинулся в тень, где только что сидел Василий Иванович, то на лбу у него колебалась та же липовая прохлада, которая венчала ушедшего.

Берлин, 1935 г.

Л и к

Есть пьеса «Бездна» (L'Abîme) известного французского писателя Suire. Она уже сошла со сцены, прямо в Малую Лету (т. е. в ту, которая обслуживает театр, — речка, кстати сказать, не столь безнадежная, как главная, с менее крепким раствором забвения, так что режиссерская удочка иное еще вылавливает спустя много лет). В этой пьесе, по существу идиотской, даже идеально идиотской, иначе говоря — идеально построенной на прочных условностях общепринятой драматургии, трактуется страстной путь пожилой женщины, доброй католички и землевладелицы, вдруг загоревшейся греховной страстью к молодому русскому, Igor, — Игорю, случайно попавшему к ней в усадьбу и полюбившему ее дочь Анжелику. Старый друг семьи, — волевая личность, угрюмый ханжа, ходко сбитый автором из мистики и похотливости, ревнует героиню к Игорю, которого она в свой черед ревнует к Анжелике, — словом, всё весьма интересно, весь-

ма жизненно, на каждой реплике штемпель серьезной фирмы, и уж, конечно, ни один толчек таланта не нарушает законного хода действия, нарастающего там, где ему полагается нарастать, и, где следует, прерванного лирической сценкой или бесстыдно пояснительным диалогом двух старых слуг.

Яблоко раздора — обычно плод скороспелый, кислый, его нужно варить; так и с молодым человеком пьесы: он бледноват; стараясь его подкрасить, автор и сделал его русским, — со всеми очевидными последствиями такого мошенничества. По авторскому оптимистическому замыслу, это — беглый русский аристократ, недавно усыновленный богатой старухой, — русской женой соседнего шатлена. В разгар ночной грозы Игорь стучится к нам в дом, входит к нам со стэком в руке; волнуясь докладывает, что в имении его благодетельницы горит красный лес, и что наш сосняк может тоже заняться. Нас это менее поражает, чем юношеский блеск ночного гостя, и мы склонны опуститься на пуф, задумчиво играя ожерельем, когда наш друг-ханжа замечает, что отблеск огня подчас бывает опаснее самого пожара. Завязка, что и говорить, крепкая, добротная: уже ясно, что русский станет тут завсегдаем, и действительно: второй акт это — солнечный день и белые панталоны.

Судя по тексту пьесы, на первых порах, т. е. пока автору это не надоело, Игорь выражается не то чтобы неправильно, а с запинкой, вставляя изредка вопрос: «так кажется, у вас, — у французов, дескать, —

говорится?» Но затем, когда автору уже не до того, в виду бурного разлива драмы, всякая иностранная слабая речь отбрасывается, русский стихийно обретает богатый язык коренного француза, и только поближе к концу, во время передышки перед финальным раскатом, драматург вспоминает национальность Игоря, который посему мимоходом обращается к старику-слуге со словами: «J'étais trop jeune pour prendre part à la... comment dit-on... *velika voïna*... *grande, grande guerre*...». Правда, надо автору отдать справедливость, что, кроме этого «*velika voïna*» и одного скромного «*dosvidania*», он не злоупотребляет знакомством с русским языком, довольствуясь указанием, что «славянская протяжность придает некоторую прелесть разговору Игоря».

В Париже, где пьеса имела большой успех, Игоря играл François Coulot, играл неплохо, но почему-то с сильным итальянским акцентом, повидимому, выдаваемым им за русский, но не удивившим ни одного рецензента. Впоследствии же, когда пьеса скатилась в провинцию, исполнителем этой роли случайно сделанся настоящий русский актер, Александр Лик (псевдоним), — худощавый блондин с темными, как кофе, глазами, до того получивший небольшую известность, благодаря фильму, где он отлично провел эпизодическую роль зайки.

Трудно, впрочем, решить, обладал ли он подлинным театральным талантом, или же был человек многих невнятных призваний, из которых выбрал первое

попавшееся, но мог бы с таким же успехом быть живописцем, ювелиром, крысоловом... Такого рода существа напоминают помещение со множеством разных дверей, среди которых, быть может, находится одна, которая, действительно, ведет прямо в сад, в лунную глубь чудной человеческой ночи, где душа добывает ей одной предназначенные сокровища. Но как бы то ни было, *этой* двери Александр Лик не отворил, а попал на актерский путь, по которому шел без увлечения, с рассеянным видом человека, ищущего каких-то путевых примет, которых нет, но которые, пожалуй, снились или, быть может, принадлежат другой, как бы не проявленной, местности, где ему не бывать никогда, никогда. В условном же плане земного быта, ему было за тридцать, но всё же на несколько лет меньше, чем веку, а потому память о России, которая у людей пожилых, застрявших за границей собственной жизни, превращается либо в необыкновенно сильно развитый орган, работающий постоянно и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами, — у него эта память оставалась в зачаточном виде, исчерпываясь туманными впечатлениями детства, вроде соснового запаха дачного новоселья или ассиметричной снежинки на башлыке. Его родители умерли, жил он один, любовь и дружба, перепадавшие ему, все были какие-то сквозные, никто к нему не писал писем просто так, потому что хочется, никто не интересо-

вался его заботами живее его самого, и, когда недавно он узнал от двух докторов — француза и русского, — что у него, как у многих литературных героев, неизлечимая болезнь сердца, как-то не к кому было пойти и пожаловаться на незаслуженную шаткость его, его бытия, когда улицы так и кишат здоровенными стариками. И каким-то образом с его болезнью было связано то, что он любил хорошие, дорогие вещи, мог, например, на последние двести франков купить нашейный платок или вечное перо, но всегда, всегда случалось так, что эти вещи у него пачкались, ломались, портились, несмотря на всю его бережную, даже набожную аккуратность.

По отношению к прочим участникам труппы, в которую он вступил столь же случайно, как сброшенный женщиной мех попадает на то или другое кресло, в сущности анонимное, он остался таким же чужим, каким был на первой репетиции. Ему сразу же показалось, что он лишний, что он украл чье-то место, — и хотя директор труппы был с ним ровно благожелателен, мнительной душе Лика мерещилась ежеминутная возможность скандала, точно вот-вот разоблачат его, обличат в чем-то невозможно стыдном, — а самую ровность отношения он воспринимал, как полнейшее равнодушие к его работе, словно все давно примирились с ее безнадежно низким уровнем и терпят его только потому, что нет удобного предлога, чтоб его уволить.

Ему мнилось, — а, может быть, это и впрямь бы-

ло так, — что для этих громких, гладких французских артистов, сложно связанных между собой сетью личных и профессиональных страстей, он такой же случайный предмет, как старый велосипед, который один из персонажей ловко разбирает во втором действии, — так что, когда кто-нибудь особенно приветливо с ним здоровался или предлагал ему закурить, это казалось ему недоразумением, которое, увы, сейчас, сейчас разъяснится. Вследствие своей болезни он избегал пить, но вместо того, чтобы прослыть мало компанейским, откуда было бы недалеко до обвинения в заносчивости, что на худой конец могло бы составить ему хоть какое-то подобие личности, — его отсутствие на приятельских сборищах просто не замечалось, точно иначе и быть не могло, а если и звали его куда-нибудь, то лишь в рассеянно вопросительной форме, — вы что, с нами, или — ? — а это всегда крайне больно человеку, который только и жаждет, чтобы его угоризовали. Он плохо понимал шутки, намеки, прозвища, которыми заповедно весело перекидывались другие; ему почти хотелось чтобы насмешка отнеслась к нему, но даже и этого не случалось. Вместе с тем, кое-кто из коллег ему нравился: так, исполнитель главной роли (лицемера с заскоком) был в рядовой жизни приятным толстяком, недавно купившим спортивную машину, о которой рассказывал вам с неподдельным вдохновением; и очень мила была девушка, черноволосая и худенькая, с великолепно-светлыми, холеными глазами, — но она безнадежно забывала днем свои

вечерние признания на подмостках, в разговорчивых объятьях русского жениха, когда она так искренне льнула к Лику, который любил себя утешать тем, что только на сцене она живет настоящей жизнью, а в другое время впадает в периодическое помешательство, когда она уже не узнает его и зовет себя другим именем. С главной же барыней он так никогда и не обменялся ни одним словом, кроме реплик, и, когда эта коренастая, напряженно красивая женщина, подрагивая щеками, шла мимо него в кулисах, он чувствовал себя куском декорации, который может плашмя упасть, если заденут. Трудно, трудно сказать, было ли это всё так, как представлял себе бедный Лик, или же эти вполне безопасные, занятые собой люди оставляли его в покое лишь потому, что он не искал их общества, и не обращались к нему с разговором совершенно так же естественно, как снюхавшиеся между собой пассажиры не обращаются к иностранцу в углу, поглощенному книжкой, — и уж, разумеется, никому это не может быть обидно. Но если даже и старался Лик в редкие минуты бодрости убедить себя в ложности своих смутных мук, они, эти муки, были слишком близки ему по воспоминаниям, слишком часто повторялись при других обстоятельствах, чтобы теперь он мог одолеть их с помощью рассудка. Одиночество, как положение, исправлению доступно, но как состояние, это — болезнь неизлечимая.

Роль свою он исполнял добросовестно и, по крайней мере, в смысле произношения, удачнее, чем его

предшественник, ибо Лик по-французски говорил с русской оттяжкой, замедляя и смягчая фразу, не донося ударения до ее конца и слишком бережно отцеживая те брызги подсобных выражений, которые столь славно и скоро слетают у француза с языка. Роль была так мала, так незначительна, вопреки драматическому влиянию ее на игру прочих лиц, что не стоило задумываться над нею, — а всё же он задумывался, особенно в начале турне, — и не столько из любви к искусству, сколько потому, что ему казалась чем-то для него лично унижительным парадоксальная разность между ничтожностью самой роли и значительностью той сложной драмы, коей он был прямой причиной. Но хотя он вскоре остыл к возможным улучшениям, которые подсказывали ему и искусство, и самолюбие (две вещи часто совпадающие), он по-прежнему с таинственным удовольствием выбегал на сцену, точно всякий раз ждал каких-то особых наград, никак, конечно, не связанных с привычными порциями обобщительных рукоплесканий. Эти награды не были и внутренним удовлетворением художника. Скорее они таились в каких-то необыкновенных щелях и складках, которые он угадывал в жизни самой пьесы, пуская банальной и бездарной до одури... но, как и всякая, живыми людьми разыгрываемая вещь, она добирала, Бог весть из чего, личную душу, часа два-три пыталась как-то жить развивая свою теплоту и энергию, не состоявшие ни в какой зависимости от жалкого замысла автора, от посредственности актерских

сил, а просыпавшиеся так, как просыпается жизнь в нагретой солнцем воде. Скажем: Лик мог бы надеяться, что в один смутно прекрасный вечер он посреди привычной игры попадет как бы на топкое место, что-то поддастся, и он навсегда потонет в оживающей стихии, ни на что не похожей, самостоятельной, совсем по-новому продолжающей нищенские задания драмы, — весь без возврата уйдет туда, женится на Анжелике, будет ездить верхом по сухому вереску, получит всё то материальное благо, на которое намекалось в пьесе, заживет в том замке, — но кроме всего очутится в невероятно нежном мире, сизом, легком, где возможны сказочные приключения чувств, неслыханные метаморфозы мысли. И обо всем этом думая, Лик почему-то себе представлял, что когда он умрет от разрыва сердца, а умрет он скоро, то это непременно будет на сцене, как было с бедным, лающим Мольером, но что смерти он не заметит, а перейдет в жизнь случайной пьесы, вдруг по-новому расцветшей от его впадения в нее, а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках, высунув конец одной ноги из под складок опустившегося занавеса.

В конце лета «Бездна» и другие две пьесы репертуара шли в приморском городе; Лик участвовал только в «Бездне», так что между первым ее представлением и вторым (всего два и намечалось) у него оказалась, как случалось обычно, неделя свободного времени, с которым он не совсем знал, как справиться. При этом он не выносил юга: первое выступление

прошло для него в оранжерейно-бредовой мути, с горячей каплей краски, то висящей на кончике носа, то обжигающей верхнюю губу, и когда во время антракта он вышел на террасу, сзади отделявшую театр от англиканской церкви, ему показалось, что он не дотянет до конца спектакля, а растает на сцене среди разноцветных испарений, промеж которых вдруг пройдет в последний смертный миг блаженная струя другой, другой жизни. Кое-как, однако, он доиграл, несмотря на то, что в глазах двоилось от пота, а гладкое ощущение холодных, голых рук молодой партнерши мучительно подчеркивало таяние его ладоней. Он вернулся в свой пансион совсем разбитый, с гулом боли в затылке и ломотой в плечах, — и там, в темном саду, всё цело, пахло конфетами, цыкали во всю кузнечики, которых он, как почему-то все русские, принимал за цикад.

Освещенная комната была санитарно бела по сравнению с южным мраком в растворенном окне. Он раздавил пьяного, красного комара на стене и потом долго сидел на краю постели, боясь лечь, боясь сердцебиения. Близкое присутствие моря за окном томило его, словно это огромное, липко-блестящее, лунной перепонкой стянутое пространство, которое он угадывал за лимонной рощей, было сродни булькающему и тоже стянутому сосуду его сердца и как оно, болезненно обнаженное, ничем не было отделено от неба, от шаркания людских ног, от невыносимого давления музыки, играющей в ближнем баре. Он посмот-

рел на дорогие часики на кисти и с болью увидел, что потерял стеклышко, — да, проехался обшлагом по каменной ограде, когда давеча спотыкаясь лез в гору... Они еще жили, беззащитные, голые, как живет вскрытый хирургом орган.

Дни проходили у него в поисках тени, в мечтах о прохладе. Было нечто адское в проблесках моря и пляжа, где млели медные демоны на раскаленной гальке. Солнечная сторона узких улиц ему была так строго заказана, что приходилось бы разрешать головолomные маршрутные задачи, кабы в блужданиях его была цель. Но итти ему было некуда, — так что, послонявшись у лавок, где между прочим, выставлены были довольно забавные запястья словно из розоватого янтаря и совсем привлекательные кожаные закладки да бумажники, тисненные золотом, он опускался на стул под оранжевым навесом кафэ, потом шел к себе и лежал на постели нагишом, страшно худой и страшно белый, думая всё о тех же вещах, о которых думал постоянно.

Он думал о том, что осужден жить сбоку от жизни, что всегда было и будет так, и что поэтому, если смерть не окажется для него выходом в настоящую сущность, он жизни так никогда и не узнает. Еще он думал о том, что, если бы его родители были живы, а не умерли на заре эмиграции, то, может быть, эти пятнадцать лет его взрослой жизни прошли бы в тепле семьи, что, будь судьба усидчивее, он окончил бы одну из трех гимназий, в которые попадал на слу-

чайных пунктах средней, очень средней, Европы, и теперь занимался бы хорошим делом в кругу хороших людей, — но как он ни напрягал воображения, ни дела этого, ни этих людей он представить себе не мог, так же, как он не мог себе объяснить, почему юношей он учился в кинематографической студии, а не занимался музыкой или нумизматикой, мытьем стекол или бухгалтерией. И как всегда, с каждой точки своей окружности мысль по радиусу возвращалась к темному центру, к предчувствию близкой смерти, для которой он, не скопивший никаких жизненных драгоценностей, едва-ли был интересной добычей, — а тем не менее его-то, повидимому, наметила она в первую очередь.

Как-то вечером, когда он полулежал в полотняном кресле на веранде, к нему пристал один из жителей пансиона, болтливый русский старик (уже успевший дважды ему рассказать свою биографию, сперва в одном направлении, из настоящего к прошлому, а потом в другом, против шерсти, причем получились две различные жизни, одна удачная, другая нет), — и, удобно усевшись, теребя подбородок, сказал: «У меня тут отыскался знакомый, т. е. знакомый — *c'est beau-coup dire*, раза два встречал его в Брюсселе, теперь, увы, это совсем опустившийся тип. Вчера — да, кажется, вчера, — упоминаю вашу фамилию, а он говорит: как же, я его знаю, мы даже родственники».

— Родственники? — удивился Лик. — У меня почти никогда не было родственников. Как его зовут?

— Некто Колдунов, Олег Петрович, — кажется, Петрович? Не знаете?

— Не может быть! — воскликнул Лик, закрыв лицо руками.

— Представьте, — сказал тот.

— Не может быть, — повторил Лик. — Я, ведь, всегда думал — — Это ужасно! Неужели вы сказали мой адрес?

— Сказал. Но я вас понимаю. И противно, знаете, и жалко. Отовсюду вышибли, озлоблен, семья, всё такое.

— Послушайте, я вас прошу, — вы не можете ему сказать, что я уехал, потому что это для меня ужасно!

— Если увижу, скажу, но только... Я так, случайно, его в порту встретил, — эх, чудесные какие там стоят яхты, вот это счастливы, живешь на воде, куда хочешь — плыви. Шампанское, девочки, всё это отполировано...

И старик причмокнул, покачивая головой.

«Как это дико, — весь вечер думал Лик. — Гадость какая»... Неизвестно на чем основанная мысль, что Олега Колдунова давным давно нет на свете, была для Лика одной из тех аксиом, которые уже не состоят на действительной службе рассудка, а сложены далеко-далеко и никогда ни в чем не участвуют, так что теперь, когда Колдунов воскрес, приходилось допустить, что две параллельные линии всё-таки скрещи-

ваются, но мучительно трудно было отделаться от старого, застрявшего в мозгу представления, словно извлечение этой одной ложной мысли могло повредить всему распорядку прочих мыслей и представлений. И он теперь никак не мог вспомнить, какие данные у него были полагать, что Колдунов погиб, и почему за эти двадцать лет так окрепла цепь каких-то неопределенных первоначальных сведений (связанных с гражданской войной?), из которых сковалась его гибель.

Их матери были двоюродными сестрами. Олег Колдунов был на два года старше его, в течение четырех лет они учились в той же провинциальной гимназии, и память об этих годах всегда была так ненавистна Лику, что он предпочитал не вспоминать отрочества; мало того, — его Россию так заволокло, пожалуй, именно потому, что личных воспоминаний своих он не пестовал. Но до сих пор бывали, конечно, сны, на них не было управы. И не только случалось, что Колдунов являлся ему в собственном виде, в обстановке отрочества, наскоро составленной сном из таких аксессуаров, как парта, черная доска, сухая, легкая губка; кроме этих бытовых снов, случались и сны романтические, даже декадентские, т. е. лишенные явного присутствия Колдунова, но зашифрованные им, пропитанные его гнетущим духом или полные как бы слухов о нем, положений и теней положений, каким-то образом выражающих его сущность, — и этот мучительный колдуновский фон, на котором развертыва-

лось действие первого попавшегося сна, был куда хуже прямых сновлений Колдунова, каким он запомнился, — грубым, мускулистым гимназистом, с коротко остриженной головой и крупными чертами неприятно пригожего лица: их правильность портили слишком близко посаженные глаза, снабженные тяжелыми замшевыми веками, — недаром его прозвали крокодил, — в самом деле, было нечто мутно-глинистоглинильское в этом медлительном взгляде.

Колдунов учился безнадежно плохо: особая русская безнадежность, когда как бы очарованный балбес стоймя погружается сквозь прозрачные слои классов, так что младшие постепенно до него дорастают в оцепенении страха и потом, через год, с облегчением оставляют его позади. Отличался он наглостью, нечистоплотностью, дикой физической силой: после возни с ним всегда пахло зверинцем. Лик между тем был тщедушным, нежным и самолюбивым мальчиком, значит — собой представлял жертву идеальную, неистощимую. Колдунов на него наплывал без слов и деловито пытал его на полу, раздавленного, но всегда ерзающего; громадная, распяленная колдуновская ладонь производила отвратительно черпающий жест, забираясь в какие-то судорожные, обезумевшие глубины. Затем, на час-другой, он его оставлял в покое, довольствуясь повторением какой-нибудь непристойно-бессмысленной фразы, обидной для Лика, у которого спина была в меловой пыли и горели замученные уши; когда же опять надо было поразмяться, Колду-

нов со вздохом, даже с какой-то неохотой, снова наваливался, впивался роговыми пальцами под ребра или садился отдыхать на лицо жертвы. Он досконально знал все хулиганские приемчики для причинения наиболее сильнейшей боли, не сопряженной с увечиями, а потому пользовался подобострастным уважением товарищей. Вместе с тем он проникался к постоянному своему пациенту смутно-сентиментальной симпатией и на переменах норовил ходить с ним в обнимку, ошупывая тяжелой, рассеянной лапой худую ключицу Лика, который тщетно старался сохранить независимый и достойный вид. Таким образом, посещение гимназии было для Лика совершенно нелепым и невозможным страданием, жаловаться он стеснялся, а ночные мысли о том, как, наконец, он Колдунова убьет, только изнуряли душу. К счастью, вне школы они почти не видались, хотя матери Лика и хотелось бы поближе сойтись с кузиной, которая была гораздо ее богаче и держала своих лошадей. Когда же революция пошла переставлять мебель, и Лик попал в другой город, а пятнадцатилетний, уже усатенький и в конец озверевший Олег куда-то в общей суматохе пропал, наступило блаженное затишье, скоро, впрочем, сменившееся новыми, более тонкими муками под управлением мелких наследников первоначального папача.

Противно признаться, но Лику случалось на людях в редких разговорах о прошлом вспоминать мнимого покойника с той фальшивой улыбкой, коей мы

награждаем далекое, доброе, мол, время, сыто спящее в углу своей зловонной клетки. Теперь же, когда Колдунов оказался живым, он никакими взрослыми доводами не мог побороть преобразованное действительностью, но тем более явственное ощущение той беспомощности, которая давила его во сне, когда из-за ширмы, осклабясь, поигрывая пряжкой пояса, выходил хозяин сна, страшный, черноволосый гимназист. И хотя Лик превосходно понимал, что живой, настоящий, ничего ему теперь не сделает, возможная встреча с ним почему-то казалась зловещей, роковой, глухо сопряженной с привычной системой всех дурных предчувствий страданий, обид, известных Лику.

✓ После разговора со стариком, он решил дома не сидеть, — до последнего спектакля оставалось всего три дня, так что переезжать в другой пансион не стоило, но можно было, например, уезжать на целый день за итальянскую границу или в горы, благо погода испортилась, накрапывало, дул свежий ветер. Когда, на следующий день, раным-рано, он вышел из сада по узкой дорожке между цветущих стен, навстречу показался небольшого роста коренастый человек, в одежде, самой по себе мало отличающейся от обычной формы средиземноморских дачников, — берет, открытая рубашка, провансальские туфли, — но почему-то чувствовалось, что он-то одет так не столько по праву летней погоды, сколько по обязанности нищеты. В первую секунду Лика больше всего поразило, что чу-

довищная фигура, заполнявшая собой его память, на самом деле едва выше его самого.

— Саша, не узнаешь? — патетически протянул Колдунов, остановившись посреди дорожки.

Крупные черты его желтовато-темного лица с шершавой тенью на щеках и над губой, из-под которой щерились плохие зубы; большой наглый нос с горбинкой; исподлобья глядящие, мутные глаза, — всё это было колдуновское, несомненное, хоть и затушеванное временем, но пока Лик смотрел, это первое, несомненное сходство разошлось, беззвучно разрушилось, и перед ним стоял незнакомый проходимец с тяжелым лицом римского кесаря — правда, сильно потрепанного кесаря.

— Поцелуемся, — мрачно сказал Колдунов и на мгновение приложился к детским губам Лика холодной, соленой щекой.

— Я тебя сразу узнал, — залепетал Лик. — Мне вчера как раз говорил, как его, Гаврилюк...

— Сомнительная личность, — перебил Колдунов. — Мэфий-туа. Хорошо... Вот это, значит, мой Саша. Отметим. Рад. Рад тебя опять встретить. Это судьба! Помнишь, Саша, как мы с тобой бычков ловили? Абсолютно ясно. Одно из лучших воспоминаний. Да.

Лик твердо знал, что с Колдуновым никогда в детстве рыбы не уживал, но растерянность, скука, застенчивость помешали ему уличить этого чужого че-

ловека в присвоении несуществующего прошлого. Он вдруг почувствовал себя вертявым и не в меру нарядным.

— Сколько раз, — продолжал Колдунов, с интересом разглядывая светлые панталоны Лика, — сколько раз за это время... Да, вспоминал, вспоминал! Где-то думаю, мой Саша... Жене о тебе рассказывал. Была когда-то красивой женщиной. Ты чем же занимаешься?

— Я актер, — вздохнул Лик.

— Позволю себе нескромность, — конфиденциально сказал Колдунов. — В Соединенных Штатах имеется тайное общество, в котором слово «деньги» считается неприличным, а если нужно платить, так заворачивают доллар в туалетную бумагу. Правда, только богачи примыкают, беднякам некогда. Я вот к чему, — и, вопросительно кивая, Колдунов произвел пальцами вульгарный перебор: осязание денег.

— Увы, нет, — без всякой задней мысли воскликнул Лик. — Большую часть года я безработный, а в остальную часть — гроши!

— Знаем и понимаем, — усмехнулся Колдунов. — Во всяком случае... Да, во всяком случае, я хочу с тобой как-нибудь поговорить об одном деле. Сможешь недурно заработать. Ты сейчас как, — свободен?

— Видишь ли, — собственно, я еду на целый день в Бордигеру, автокаром, — а завтра...

— Очень напрасно. Сказал бы мне, у меня тут есть знакомый шофер, шикарная частная машина, я бы тебе всю Ривьеру показал. Шляпа, шляпа. Ну, чорт с тобой, провожу тебя до остановки.

— И я вообще скоро уезжаю совсем, — вставил Лик.

— А как твои... как тетя Тася? — рассеянно спросил Колдунов, когда они шли по людной улочке, спускающейся к набережной. — Так, так, закивал он на ответ Лика, — и вдруг что-то виновато-безумное пробежало по его нехорошему лицу. — Послушай, Саша, — сказал он, невольно его толкая и близко оборачиваясь к нему на узком тротуаре, — для меня встреча с тобой это знак. Это знак, что не всё еще погибло, а я, признаться, на-днях еще думал, что всё погибло. Понимаешь, что я говорю?

— Ну это у всякого бывают такие мысли, — сказал Лик.

Они вышли на набережную. Под пасмурным небом море было густое, граненое и местами, вблизи парапета, там, где шлепнулась пена, темнелись лужи. Было пусто, только на скамейке сидела одинокая дама в штанах.

— Давай-ка пять франчей, папирос тебе куплю на дорогу, — быстро проговорил Колдунов и, взяв монету, добавил другим, свободным тоном: — Смотри, вон там моя жонка, займи ее, я сейчас вернусь.

Лик подошел к скамье на которой сидела белокурая дама с раскрытой книжкой на коленях, и по актерской инерции сказал:

— Ваш муж сейчас вернется и забыл меня представить. Я его родственник.

В то же время его обдало прохладной пылью волны. Дама подняла на Лика голубые английские глаза, неторопливо закрыла красную книжку и безмолвно ушла.

— Просто шутка, — сказал запыхавшийся Колдунов, появляясь опять. — Вуаля. Беру себе несколько. Да, — моей, к сожалению, некогда глядеть на море. Слушай, я тебя умоляю, обещай мне, что мы еще свидимся. Помни знак! Завтра, послезавтра, когда хочешь. Обещай. Погоди, я тебе дам мой адресок.

Он взял новенькую, золотисто-кожаную записную книжку Лика, сел, наклонил потный, со вздутыми жилами лоб, сдвинул колени, — и не только написал адрес, с мучительной тщательностью перечтя его, поставив забытую точку на «i» и подчеркнув, но еще набросал план — так, так, потом так. Видно было, что он делал это не раз, и что не один обманувший его человек уже ссылался на то, что адрес запомнил, — поэтому-то он вкладывал в его начертание очень много усердия и силы, — силы почти заклинательной.

Подошел автокар. «Значит жду», — крикнул Колдунов, подсаживая Лика. И повернувшись, полный

энергии и надежды, он решительно пошел вдоль набережной, словно у него было какое-то спешное, важное дело, — между тем как по всему видать было, что это лодырь, пропойца и хам.

На следующий день, в среду, Лик поехал в горы, а в четверг большую часть дня пролежал у себя с сильной головной болью. Вечером — спектакль, завтра — отъезд. Около шести пополудни он вышел, чтобы получить из починки часы, а затем купить себе хорошие белые туфли: давно хотелось во втором действии блеснуть обновой, — и когда он с коробкой подмышкой выбрался из лавки сквозь рассыпчатую завесу, то сразу столкнулся с Колдуновым.

Тот поздоровался с ним без прежнего пыла, а скорее насмешливо.

— Не! Теперь уж не отвертись, — сказал он, крепко взяв Лика за руку. — Пойдем-ка. Посмотришь, как я живу и работаю.

— Вечером спектакль, — возразил Лик, — и завтра я уезжаю!

— То-то и оно, милый, то-то и оно. Хватай! Пользуйся! Другого шанса никогда не будет. Карта бита! Иди, иди.

Повторяя отрывистые слова, изображая всем своим непривлекательным существом бессмысленную радость человека, дошедшего до точки, а, может быть, и перешедшего ее (плохо изображает, смутно поду-

мал Лик), Колдунов быстро шел да подталкивал слабого спутника. В угловом кафэ на террасе сидела вся компания артистов и, заметив Лика, его приветствовала перелетной улыбкой, которая, собственно, не принадлежала ни одному из них, а пробежала по всем губам, как самостоятельный зайчик.

Колдунов повел Лика влево и вверх по маленькой кривой улице, испещренной там и сям желтым и тоже каким-то кривым солнцем. В этом нищем старом квартале Лик не бывал ни разу. Высокие, голые фасады узких домов словно наклонялись с обеих сторон, как бы сходясь верхушками, иногда даже сrostались совсем, и получалась арка. У порогов возились отвратительные младенцы; всюду текла черная, вонючая водица. Вдруг, переменив направление, Колдунов втокнул его в лавку и подобно многим русским беднякам, щеголяя самыми дешевыми французскими словечками, купил на деньги Лика две бутылки вина. При этом было очевидно, что он тут давно задолжал, и теперь во всей его повадке, в грозно приветственных восклицаниях, на которые ни лавочник, ни теща лавочника никак не откликнулись, было отчаянное злорадство, и от этого Лику стало еще неприятнее. Они пошли дальше, свернули в переулок, и, хотя казалось, что мерзкая улица, по которой они только-что поднимались была последним пределом мрачности, грязи, тесноты, проход этот с вялым бельем, висевшим поперек верхнего просвета, изловчился выразить еще худшую печаль. Там-то, на углу кривобокой площадки,

Колдунов сказал, что пойдет вперед, и, покинув Лика, направился к черной дыре раскрытой двери. Одновременно из нее выскочил белокурый мальчик лет десяти, но увидя наступающего Колдунова, побежал обратно, задев по пути грубо звякнувшее ведро. «Стой, Васюк», — крикнул Колдунов и ввалился в черное свое жилище. Как только он вошел, оттуда послышался остревенелый женский голос, что-то кричавший с мучительным и, должно быть привычным надсадом, но вдруг пресекся, и через минуту Колдунов выглянул, мрачно маня Лика.

Лик попал прямо с порога в комнату, низкую и темную, с каким-то мало понятным расположением голых стен, точно они расплзлись от страшного давления сверху. Она была полна бутафорской рухлядью бедности. На вогнутой постели сидел давешний мальчик; громадная белобрысая женщина с толстыми босыми ногами вышла из темного угла и без улыбки на некрасивом расплывчато-бледном лице (все черты, даже глаза, были как бы смазаны — усталостью, унынием, Бог знает чем), безмолвно поздоровалась с Ликом.

— Знакомьтесь, знакомьтесь, — с издевательской поощрительностью сказал Колдунов в сторону и немедленно принялся откупоривать вино. Жена поставила на стол хлеб и тарелку с помидорами. Она была столь безмолвна, что Лик уже сомневался, эта ли женщина так кричала только что, — пока муж, должно

быть, не объяснил хлестким шопотом, что привел гостя.

Она опустила на скамейку в глубине комнаты, возясь с чем-то, что-то чистя... ножом... на газете, что-ли... Лик боялся слишком точно рассматривать, — а мальчик, блестя глазами, отошел к стене и, осторожно маневрируя, выскользнул на улицу. В комнате было множество мух, с маниакальным упорством игравших на столе и садившихся Лику на лоб.

— Ну вот, выпьем, — сказал Колдунов.

— Я не могу, мне запрещено, — хотел было возразить Лик, но вместо этого, повинувшись тяжелому, по кошмарам знакомому влиянию, отпил из стакана и сразу закашлялся.

— Этак лучше, — произнес Колдунов со вздохом, кистью руки вытирая дрожащие губы. — Видишь ли, — продолжал он, наливая Лику и себе, — вот, значит, как обстоит дело. Деловой разговор! Позволь мне тебе рассказать вкратце. В начале лета, так с месяц, я тут проработал в русской артели, шут бы ее взял, мусорщиком. Но, как тебе известно, я человек прямой и люблю правду, а когда подвертывается сволочь, то я и говорю: ты сволочь, — и, если нужно, мажу по шее. Вот как-то раз...

И основательно, подробно, с кропотливыми повторами, Колдунов стал рассказывать нудную, жалкую историю, и чувствовалось, что из таких историй

давно состоит его жизнь, что давно его профессией стали унижения и неудачи, тяжелые циклы подлого безделья и подлого труда, замыкающиеся неизбежным скандалом. Между тем Лик опьянел от первого же стакана, а всё-таки продолжал попивать скрыто-брезгливыми глотками, испытывая щекочущую муть во всех членах, но перестать не смея, точно за отказ от вина последовала бы постыдная кара. Колдунов, облокотившись, а другой рукой поглаживая край стола, изредка прихлопывая особенно черное слово, говорил безостановочно. Его глинисто-желтая голова — он был почти совершенно лыс — мешки под глазами, загадочно-злое выражение подвижных ноздрей, — всё это окончательно утратило внешнюю связь с образом сильного, красивого гимназиста, истязавшего Лика некогда, но коэффициент кошмара остался тот же.

— Так-то брат... Всё это теперь не важно, — сказал Колдунов другим, менее повествовательным тоном. — Собственно, я готовил тебе этот рассказец еще в прошлый раз, когда думал... Видишь ли, мне показалось сперва, что судьба — я старый фаталист — вложила известный смысл в нашу встречу, что ты явился вроде, скажем, спасителя. Но теперь выяснилось, что, во-первых, ты — прости меня — скуп, как жид, а во-вторых... Бог тебя знает, может быть, ты и действительно не в состоянии одолжить мне... не пугайся, не пугайся... всё это пройдено! Да и речь шла только о такой сумме, которая нужна, чтобы не на но-

ги встать, это роскошь! — а хотя бы на четвереньки. Потому что не хочу больше лежать пластом в дерьме, как лежу уже годы, — да, дядя, годы. Я и не буду тебя ни о чем просить... Не мой жанр просить, — крикливо отчеканил Колдунов, снова перебив самого себя. — А вот только хочу знать твое мнение. Просто — философский вопрос. Дамы могут не слушать. Как ты думаешь, чем это всё можно объяснить? Понимаешь ли, если наверняка имеется какое-то объяснение, то, пожалуйста, я готов с дерьмом примириться, — потому что, значит, тут есть что-то разумное, оправданное, — может быть, что-нибудь полезное мне или другим, не знаю... Вот, объясни: я — человек, — с этим, ведь нельзя спорить никак. Ладно. Я — человек, — притом тех же самых кровей, что и ты, — шутка ли сказать, я был у покойной мамы единственным и обожаемым, в детстве шалил, в юности воевал, а потом — поехало, поехало... ой-ой-ой, как поехало... В чем дело? Нет, ты мне скажи, в чем дело? Я только хочу знать, в чем дело, тогда я успокоюсь. Почему меня систематически травил жизнь, почему я взят на ампула какого-то несчастного мерзавца, на которого все харкают, которого обманывают, застрачивают, сажают в тюрьму? Вот тебе для примера: когда в Лионе, после одного инцидента, меня увели, — причем я был абсолютно прав и очень жалел что не пристукнул совсем, — когда меня, значит, несмотря на мои протесты, ажан повел, — знаешь, что он сделал? Крючком, вот таким, вот сюда меня зацепил за живую шею,

— что это такое, я вас спрашиваю? — и вот так ведет в участок, а я плыву, как лунатик, потому что от всякого лишнего движения чернеет в глазах. Ну, объясни, почему этого с другими не делают, а со мной вдруг взяли и сделали? Почему моя первая жена сбежала с черкесом? Почему меня в тридцать втором году в Антверпене семь человек били смертным боем в небольшой комнате? — и, посмотри, почему вот это всё — вот эта рвань, вот эти стены, вот эта Катя... Интересно, давно интересуюсь историей своей жизни! Это тебе не Джек Лондон и не Достоевский! Хорошо — пускай живу в продажной стране, — хорошо, согласен примириться, но надо же, господа, найти объяснение! Мне как-то говорил один фрукт — отчего, спрашивает, не вернешься в Россию? В самом деле, почему бы и нет? Очень небольшая разница! Там меня будут так же преследовать, бить по кумполу, сажать в холодную, — а потом, пожалуйста в расход, — и это, по крайней мере, честно. Понимаешь, я готов их даже уважать — честные убийцы, ей-Богу, — а здесь тебе жулики выдумывают такие пытки, что прямо затоскуешь по русской пуле. Да что ж ты не смотришь на меня, — какой, какой, какой... или не понимаешь, что я говорю?

— Нет, я это всё понимаю, — сказал Лик, — только извини, мне нехорошо, я должен итти, скоро нужно в театр.

— А нет, постой. Я тоже многое понимаю. Странный ты мужчина... Ну, предложи мне что-нибудь...

Попробуй! Может быть, всё-таки меня озолотишь, а? Слушай, знаешь что, — я тебе продам револьвер, тебе очень пригодится для театра, трах — и падает герой. Он и ста франков не стоит, но мне ста мало, я тебе его за тысячу отдам, — хочешь?

— Нет, не хочу, — вяло проговорил Лик. — И, право же, у меня денег нет... Я тоже — всё такое — и голодал и всё... Нет, довольно, мне плохо.

— А ты пей, сукин кот, вот и не будет плохо. Ладно, черт с тобой, я это так, на всякий случай, всё равно, не пошел бы на выкуп. Но только, пожалуйста, ответь мне на мой вопрос. Кто же это решил, что я должен страдать, да еще обрек ребенка на мою же русскую паршивую гибель? Позвольте, — а если мне тоже хочется сидеть в халате и слушать радио? В чем дело, а? Вот ты, например, чем ты лучше меня? А ходишь гоголем, в отелях живешь, актрис, должно быть, взасос... Как это так случилось? объясни, объясни.

— У меня, — сказал Лик, — у меня случайно оказался... ну, я не знаю, — небольшой сценический талант, что ли...

— Талант? — закричал Колдунов. — Я тебе покажу талант! Я тебе такие таланты покажу, что ты в штанах компот варить станешь! Сволочь ты, брат. Вот гвой талант. Нет, это мне даже нравится (Колдунов затрясся, будто хохоча, с очень примитивной мимикой). Значит, я, по-твоему, последняя хамская тварь, которая и должна погибнуть? Ну, прекрасно, прекрас-

но. Всё, значит, и объяснилось, эврика, эврика, карта бита, гвоздь вбит, хребет перебит...

— Олег Петрович расстроен, вы, может быть, теперь пойдете, — вдруг из угла сказала жена Колдунова с сильным эстонским произношением. В голосе ее не было ни малейшего оттенка чувства, и оттого ее замечание прозвучало как-то деревянно-бессмысленно. Колдунов медленно повернулся на стуле, не меняя положения руки, лежащей как мертвая на столе, и уставился на жену восхищенным взглядом.

— Я никого не задерживаю, — проговорил он тихо и весело. — Но и меня попрошу не задерживать. И не учить. Прощай, барин, — добавил он, не глядя на Лика, который почему-то счел нужным сказать:

— Из Парижа напишу, непременно...

— Пускай пишет, а? — вкрадчиво произнес Колдунов, продолжая, повидимому, обращаться к жене. Лик, сложно отделившись от стула, пошел было по направлению к ней, но его отнесло в сторону, и он наткнулся на кровать.

— Ничего, идите, идите, — сказала она спокойно, и тогда, вежливо улыбаясь, Лик бочком выплыл на улицу.

✓ Сперва — облегчение: вот ушел из мрачной орбиты пьяного резонера-дурака, затем — возрастающий ужас: тошнит, руки и ноги принадлежат разным лю-

дям, — как я буду сегодня играть?.. Но хуже всего было то, что он всем своим зыбким и пунктирным телом чуял наступление сердечного припадка: это было так, словно навстречу ему был наставлен невидимый кол, на который он вот-вот наткнется, а потому-то приходилось вилять и даже иногда останавливаться и слегка пятиться. При этом ум оставался сравнительно ясным: он знал, что до начала представления всего тридцать шесть минут, знал как пойти домой... Впрочем, лучше спуститься на набережную, — посидеть у моря, переждать, пока рассеется телесный, отвратительно бисерный туман, — это пройдет, это пройдет, — если только я не умру... Он постигал и то, что солнце только что село, что небо уже было светлее и добрее земли. Какая ненужная, какая обидная ерунда. Он шел, рассчитывая каждый шаг, но иногда ошибался, и прохожие оглядывались на него, — к счастью, их попадалось немного, был священный обеденный час, и когда он добрался до набережной, там уже совсем было пусто, и горели огни на молу, с длинными отражениями в подкрашенной воде, — и казалось, что эти яркие многоточия и перевернутые восклицательные знаки сквозисто горят у него в голове. Он сел на скамейку, ушибив при этом кобчик и прикрыл глаза. Но тогда всё закружилось, сердце, страшным глобусом отражаясь в темноте под веками, стало мучительно разрастаться, и чтобы это прекратить, он принужден был зацепиться взглядом за первую звезду, за черный буюк в море, за потемневший эвкалипт в конце набе-

режной, я всё это знаю и понимаю, и эвкалипт странно похож в сумерках на громадную русскую березу... «Так неужели это конец, — подумал Лик, — такой дурацкий конец... Мне всё хуже и хуже... Что это... Боже мой!»

! Прошло минут десять, не более. Часики шли, стараясь из деликатности на него не смотреть. Мысль о смерти необыкновенно точно совпадала с мыслью о том, что через полчаса он выйдет на освещенную сцену, скажет первые слова роли: «*Je vous prie d'excuser, Madame, cette invasion nocturne*» — и эти слова, четко и изящно выгравированные в памяти, казались гораздо более настоящими, чем шлепоток и хлеблет утомленных волн или звуки двух счастливых женских голосов, доносившиеся из-за стены ближней виллы, или недавние речи Колдунова, или даже стук собственного сердца. Ему вдруг стало так панически плохо, что он встал и пошел вдоль парапета, растерянно глядя его и косясь на цветные чернила вечернего моря. «Была-не была, — сказал Лик вслух, — нужно освежиться... как рукой... либо умру, либо снимет...» Он сполз по наклону панели и захрустел на гальке. Никого на берегу не было, кроме случайного господина в серых штанах, который навзничь лежал около скалы, раскинув широко ноги, и что-то в очертании этих ног и плеч почему-то напомнило ему фигуру Колдунова. Пошатываясь и уже наклоняясь, Лик стыдливо подошел к краю воды, хотел было зачерпнуть в ладони и обмыть голову, но вода жила, двигалась, грозила омо-

чить ему ноги, — может быть, хватит ловкости раззуться? — и в ту же секунду Лик вспомнил картонку с новыми туфлями: забыл их у Колдунова!

И странно: как только вспомнилось, образ оказался столь живительным, что сразу всё опростилось, и это Лика спасло, как иногда положение спасает его формулировка. Надо их тотчас достать, и можно успеть достать, и как только это будет сделано, он в них выйдет на сцену — всё совершенно отчетливо и логично, придраться не к чему, — и забыв про сжатие в груди, туман, тошноту, Лик поднялся опять на набережную, грамофонным голосом кликнул такси, как раз отъезжавшее порожняком от виллы напротив... Тормоза ответили раздирающим стоном. Шоферу он дал адрес из записной книжки и велел ехать как можно шибче, при чем было ясно, что вся поездка — туда и оттуда в театр — займет не больше пяти минут.

К дому, где жили Колдуновы, автомобиль подъехал со стороны площади. Там собралась толпа, и только с помощью упорных трубных угроз автомобилю удалось протиснуться. Около фонтана, на стуле, сидела жена Колдунова, весь лоб и левая часть лица были в блестящей крови, слиплись волосы, она сидела совершенно прямо и неподвижно, окруженная любопытными, а рядом с ней, тоже неподвижно, стоял ее мальчик в окровавленной рубашке, прикрывая лицо кулаком, — такая, что ли, картина. Полицейский, принявший Лика за врача, провел его в комнату. Среди осколков,

на полу навзничь лежал обезображенный выстрелом
в рот, широко раскинув ноги в новых белых...

— Это мои, — сказал Лик по-французски.

Ментона, 1938 г.

Истребление тиранов

1

Росту его власти, славы соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так, сначала я удовольствовался бы его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы, затем мне уже нужно было его заключения в тюрьму, еще позже — изгнания на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящей в ад одиночества, позора, бессилия; теперь наконец, только его смерть могла бы меня утолить.

Как статистики наглядно показывают его восхождение, изображая число его приверженцев в виде постепенно увеличивающейся фигурки, фигуры, фигурки, моя ненависть к нему, так же как он скрестив руки, грозно раздувалась посреди поля моей души, покуда не заполнила ее почти всю, оставив мне лишь

тонкий светящийся обод (напоминающий больше корону безумия, чем венчик мученичества); но я предвижу и полное свое затмение.

Первые его портреты, в газетах, в витринах лавок, на плакатах (тоже растущих в нашей богатой осадками, плачущей и кровоточащей стране), выходили на первых порах как бы расплывчатыми, — это было тогда, когда я еще сомневался в смертельном исходе моей ненависти: что-то еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва, болезни, мало ли чего, в то время слабо дрожало сквозь иные его снимки, в разнообразности неустоявшихся еще поз, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического выражения, но исподволь его облик уплотнился, его скулы и щеки на официальных фото-этюдах покрылись божественным лоском, оливковым маслом народной любви, лаком законченного произведения, — и уже нельзя было представить себе, что этот нос можно высморкать, что под эту губу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть застречку пищи из-за гнилого резца. За пробным разнообразием последовало канонизированное единство, утвердился, теперь знакомый всем, каменно-тутский взгляд его неумных и незлых, но чем-то нестерпимо жутких глаз, прочная мясистость отяжелевшего подбородка, бронза маслаков, и уже ставшая для всех карикатуристов мира привычной чертой, почти машинально производящей фокус сходства, толстая морщина через весь лоб, — жировое отложение мысли, а

не шрам мысли, конечно. Вынужден думать, что его натирала множеством патентованных бальзамов, иначе мне непонятна металлическая добротность лица, которое я когда-то знал болезненно-одутловатым, плохо выбритым, так что слышался шорох волосков о грязный крахмальный воротничек, когда он поворачивал голову. И очки, — куда делись очки, которые он носил юношей?

2

Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с политически взволнованными, напряженно серьезными людьми, методы борьбы в свете последних событий. До блага человечества мне дела нет, и я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, должно ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю кроме того, что моей родине, ныне им поработанной, предстоит в дальнем будущем множество других потрясений, независимых от каких-либо действий сегодняшнего правителя. И всё-таки: убить его.

Когда боги, бывало, принимали земной образ и, в лиловатых одеждах, скромно и сильно ступая мускулистыми ногами в незапыленных еще плесницах, появлялись среди полевых работников или горных пастухов, их божественность нисколько не была этим умалена; напротив — в очаровании человечности, обвевающей их, было выразительнейшее обновление их неземной сущности. Но когда ограниченный, грубый, мало образованный человек, на первый взгляд третьеразрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором — когда такой человек наряжается богом, то хочется перед богами извиниться. Напрасно меня бы стали уверять, что сам он вроде как ни при чем, что его возвысило и теперь держит на железо-бетонном престоле неумолимое развитие темных, зоологических, зоорландских идей, которыми прельстилась моя родина. Идея подбирает только топорище, человек волен топор доделать — и применить.

Впрочем, повторяю: я плохо разбираюсь в том, что государству полезно, что вредно, и почему случается, что кровь с него сходит, как с гуся вода. Среди всех и всего меня занимает одна только личность. Это мой недуг, мое наваждение, и вместе с тем нечто как бы

мне принадлежащее, мне одному отданное на суд. С ранних лет, а я уже не молод, зло в людях мне казалось особенно омерзительным, удушливо-невыносимым, требующим немедленного осмеяния и истребления, — между тем как добро в людях я едва замечал, настолько оно мне всегда представлялось состоянием нормальным, необходимым, чем-то данным и неотъемлемым, как, скажем, существование живого подразумевает способность дышать. С годами у меня развился тончайший нюх на дурное, но к добру я уже начал относиться несколько иначе, поняв, что обыкновенность его, обуславливавшая мое к нему невнимание, — обыкновенность такая необыкновенная, что вовсе не сказано, что найду его всегда под рукой, буде понадобится. Я прожил поэтому трудную, одинокую жизнь, в нужде, в меблированных комнатах, — однако, всегда у меня было рассеянное ощущение, что дом мой за углом, ждет меня, и что я войду в него, как только разделаюсь с тысячей мнимых дел, заполнявших мою жизнь. Боже мой, как я ненавидел тупость, квадратность, как бывал я несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное, вроде скарденности или почтения к богатыньким. И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный.

Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непременным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин — и всё, что сюда воображение машинально относит: забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног... вот нынешний образ моей страны, — образ предельного уныния, но уныние у нас в почете, и однажды *им брошенный* (в свальную яму глупости) лозунг «половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована» повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья. Добро еще, если бы он нас питал той жалкой истиной, которую некогда вычитал у каких-то площадных софистов; он питает нас шелухой этой истины, и образ мышления, который требуется от нас, построен не просто на лжемудрости, а на обломках и обмолвках ее. Но для меня и не в этом суть, ибо разумеется, будь идея, у которой мы в рабстве, вдохновеннейшей, восхитительнейшей, освежительно мокрой

и насквозь солнечной, рабство оставалось бы рабством, поскольку нам навязывали бы ее. Нет, главное то, что по мере роста его власти я стал замечать, что гражданские обязательства, наставления, стеснения, приказы и все другие виды давления, производимые на нас, становятся все более и более похожими на него самого, являя несомненное родство с определенными чертами его характера, с подробностями его прошлого, так что по ним, по этим наставлениям и приказам, можно было бы восстановить его личность, как спрута по щупальцам, ту личность его, которую я один из немногих хорошо знал. Другими словами, всё кругом принимало его облик, закон начинал до смешного смахивать на его походку и жесты; в зеленных появились в необыкновенном изобилии огурцы, которыми он так жадно кормился в юности; в школах введено преподавание цыганской борьбы, которой он в редкие минуты холодной резвости занимался на полу с моим братом двадцать пять лет тому назад; в газетных статьях и в книгах подобострастных беллетристов появилась та отрывистость речи, та мнимая лапидарность (бессмысленная по существу, ибо каждая короткая и будто бы чеканная фраза повторяет на разные лады один и тот же казенный трюизм или плоское от избитости общее место), та сила слов при слабости мысли и все те прочие ужимки стиля, которые ему свойственны. Я скоро почувствовал, что он, он, таким как я его помнил, проникает всюду, заражая собой образ мышления и быт каждого человека, так что его

бездарность, его скука, его серые навыки становились самой жизнью моей страны. И наконец, закон, им поставленный, — неумолимая власть большинства, ежесекундные жертвы идолу большинства, — утратил всякий социологический смысл, ибо большинство это он.

5

Он был одним из товарищей моего брата Григория, который лихорадочно и поэтично увлекался крайними видами гражданственности (давно пугавшими нашу тогдашнюю смиренную конституцию) в последние годы своей короткой жизни: утонул двадцати трех лет, купаясь летним вечером в большой, очень большой реке, так что теперь, когда вспоминаю брата, первое, что является мне, это — блестящая поверхность воды, ольхой поросший островок, до которого он никогда не доплыл, но вечно плывет сквозь дрожащий пар моей памяти, и длинная черная туча, пересекающая другую, пышно взбитую, оранжевую — всё, что осталось от субботней грозы в предвоскресном, чисто бирюзовом небе, где сейчас просквозит звезда, где звезды никогда не будет. О ту пору я слишком был поглощен живописью и диссертацией о ее пещерном происхождении, чтобы внимательно соприкоснуться с кружком молодых людей, завлекшим моего брата; мне, впрочем, помнится, что определенного кружка и не было, а что просто набралось не-

сколько юношей, во многом различных, временно и некрепко связанных между собой тягой к бунтарским приключениям; но настоящее всегда оказывает столь порочное влияние на вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю *его* на этом смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарищей Григория той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей волей, которая из бездарного человека лепит в конце концов торжествующее чудовище.

Я его помню ожидающим моего брата в темной столовой нашего бедного провинциального дома: он присел на первый попавшийся стул и немедленно принялся читать мятую газету, извлеченную из кармана черного пиджака, и лицо его, наполовину скрытое стеклянным забралом дымчатых очков, приняло брезгливо плачущее выражение, словно ему попался пасквиль. Помню, его городские, неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту, между незамеченных нив. Коротко остриженные волосы щетинистым мыском находили на лоб, — еще не предвиделась, значит, его сегодняшняя кесарская плешивость. Ногти больших влажных рук были так искусаны, что больно было за перетянутые подушечки на кончиках отвратительных пальцев. От него пахло козлом. Он был нищ и неразборчив в ночлегах.

Когда брат мой является (а Григорий в моих воспоминаниях всегда опаздывает, всегда входит впопы-

хах, точно страшно торопясь жить и всё равно не поспевая, — и вот жизнь, наконец, ушла без него), он без улыбки с Григорием здоровается, резко встав и со странной оттяжкой подавая руку; казалось, что если во время не схватить ее, она с пружинным звуком уйдет обратно в пристяжную манжету. Ежели входил кто-нибудь из нашей семьи, он ограничивался хмурым поклоном, — но зато демонстративно подавал руку кухарке, которая, взятая враспloh и не успев обтереть ладонь до пожатия, обтирала ее после, как бы вдогонку. Моя мать умерла незадолго до его появления у нас в доме, отец же относился к нему с той же рассеянностью, с которой относился ко всем и ко всему, к нам, к невзгодам жизни, к присутствию грязных собак, которых пригревал Гриша, и даже кажется к своим пациентам. Зато две старые мои тетки откровенно побаивались «чудака» (вот уж никаким чудачком он не был), как, впрочем, побаивались они и остальных гришиных товарищей.

Теперь, через двадцать пять лет, мне часто приходится слышать его голос, его звериный рык, разносимый громами радио, но тогда, помнится, он всегда говорил тихо, даже с какой-то хрипотцей или пришептыванием, — вот только это знаменитое гнусное задыханье его в конце фраз уже было, было... Когда, опустив голову и руки, он стоял перед моим братом, который его приветствовал ласковым окриком, всё еще стараясь поймать хотя бы его локоть, хотя бы костлявое плечо, он казался странно коротконогим,

вероятно, вследствие длины пиджака, доходившего ему до половины бедер, — и нельзя было разобрать, чем определена подавленность его позы, угрюмой ли застенчивостью или напряжением сознания перед сообщением какой-то тяжелой, дурной вести. Мне показалось впоследствии, что он, наконец, сообщил ее, с нею покончил, когда в ужасный летний вечер пришел с реки, держа в охапке белье и парусиновые штаны Григория, но теперь мне думается, что весть, которой он всегда был полон, всё-таки была не та, а глухая весть о собственном чудовищном будущем.

Иногда через полуоткрытую дверь я слышал его болезненно отрывистый разговор с братом; или же он сидел за чайным столом, ломая баранку, отворачивая ночные совиные глаза от света керосиновой лампы. У него была странная и неприятная манера полоскать рот молоком, прежде, чем его проглотить, и баранку он кусал осторожно кривя рот, — зубы были плохие, и случалось, обманывая кратким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втягивал поминутно воздух с боковым свистом, а также помню, как мой отец смачивал для него ватку коричневыми каплями с опиумом и, беспредметно посмеиваясь, советовал обратиться к дантисту. «Целое сильнее части, — отвечал он, грубо конфузясь, — эрго я свое зубье побо-рю»; но я теперь не знаю, сам ли я слышал от него эти деревянные слова, или их потом передавали, как изречение оригинала... да только, как я уже сказал, он отнюдь оригиналом не был, ибо не может же живот-

ная вера в свою мутную звезду почитаться своеобразием; но вот подите же — он поражал бездарностью, как другие поражают талантом.

6

Иногда его природная унылость сменялась судорогами какого-то дурного, зазубристого веселья, и тогда я слышал его смех, такой же режущий и неожиданный, как вопль кошки, к бархатной тишине которой так привыкаешь, что ее ночной голос кажется чем-то безумным, бесовским. Так крича, он вовлекался товарищами в игры, в возню, и выяснялось, что руки у него слабые, а зато ноги — железные. И однажды один из юношей позабавнее положил ему жабу в карман, и он, не смея залезть туда пальцами, стал сдирать отяжелевший пиджак и в таком виде, буро-красный, растерзанный, в манишке поверх рваной нательной фуфайки, был застигнут злой горбатенькой барышней, тяжелая коса и чернильно-синие глаза которой многим так нравились, что ей охотно прощалось сходство с черным шахматным коньком.

Я знаю о его любовных склонностях и системе ухаживания от нее же самой, ныне, к сожалению, покойной, как большинство людей, близко знавших его в молодости, словно смерть ему союзница и уводит с его пути опасных свидетелей его прошлого. К этой бойкой горбунье он писал либо нравоучительно, с популярно-

научными экскурсиями в историю (о которой знал из брошюр), либо темно и жидко жаловался на другую, мне оставшуюся неизвестной, женщину (тоже, кажется, с каким-то физическим недостатком), с которой одно время делил кров и кровать в мрачайшей части города... много я дал бы теперь, чтобы разыскать, распространить эту неизвестную, но верно и она безопасно мертва. Любопытной чертой его посланий была их пакостная тягучесть, он намекал на козни таинственных врагов, длинно полемизировал с каким-то поэтом, стишки которого вычитал в календаре... о, если б можно было воскресить эти драгоценные клетчатые страницы, исписанные его мелким, близоруким почерком! Увы, я не помню из них ни одного выражения (не очень это меня интересовало тогда, хотя я слушал и смеялся) и только смутно-смутно вижу в глубине памяти бант на косе, худую ключицу, быструю, смуглую руку в гранатовой браслетке, мнущую письмо, и еще улавливаю воркующий звук женского предательского смеха.

7

Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по собственному усмотрению — разница глубокая, роковая; однако, ни брат мой, ни его друзья не чувствовали, повидимому, особого различия между своим бесплотным мятежом и *его* железной жадой. Через месяц после смерти брата он

исчез, перенеся свою деятельность в северные провинции (кружок зачах и распался, при чем, насколько я знаю, ни один из его остальных участников в политики не вышел), и скоро дошел слух, что тамошняя работа, стремления и методы приняли оборот совершенно противный всему, что говорилось, думалось, чаялось в той первой юношеской среде. Вот, я вспоминаю его тогдашний облик, и мне удивительно, что никто не заметил длинной угловатой тени измены, которую он всюду за собой влачил, запрятывая концы под мебель, когда садился, и странно путая отражения лестничных перил на стене, когда его провожали с лампой. Или это наше черное сегодня отбрасывает туда свою тень? Не знаю, любили ли его, но во всяком случае брату и другим *импонировали* и мрачность его, которую принимали за густоту душевных сил, и жестокость мыслей, казавшаяся следствием перенесенных им таинственных бед, и вся его непрезентабельная оболочка, как бы подразумевавшая чистое, яркое ядро. Что таить, — мне самому однажды померещилось, что он способен на жалость, и только впоследствии я определил точный оттенок ее. Любители дешевых парадоксов давно отметили сентиментальность палачей, — и, действительно, панель перед мясными всегда мокрая.

8

В первые дни после гибели брата он всё попадался мне на глаза и несколько раз у нас ночевал. Эта смерть не вызвала в нем никаких видимых признаков огорче-

ния. Он держался так, как всегда, и это несколько не коробило нас, ибо его всегдашнее состояние и так было траурным, и всегда он так сидел где-нибудь в углу, читая что-нибудь неинтересное, т. е. всегда держался так, как в доме, где случилось большое несчастье, держатся люди, недостаточно близкие или недостаточно чужие. Теперь же его постоянное присутствие и мрачная тишина могли сойти за суровое соболезнавание, соболезнавание, видите-ли, замкнутого, мужественного человека, который и незаметен и неотлучен (недвижимое имущество сострадания), и о котором узнаешь, что он сам был тяжело болен в то время, как проводил бессонную ночь на стуле, среди домочадцев, ослепших от слез. Но в данном случае всё это был страшный обман: если и тянуло его к нам тогда, то это было только потому, что нигде он так естественно не дышал, как среди стихии уныния, отчаяния, — когда на столе стоит небранная посуда, и некурящие просят папирос.

Я отчетливо помню, как я с ним вместе отправился на исполнение одной из тех мелких формальностей, одного из тех мучительно мутных дел, которыми смерть (в которой есть всегда нечто от чиновничьей волокиты) старается подольше опутать оставшихся в живых. Кто-то должно быть сказал мне: «Вот *он* с тобой пойдет»; он и пошел, сдержанно прочищая горло. И вот тогда-то (мы шли пушистой от пыли незастроенной улицей, мимо заборов и наваленных досок) я сделал кое-что, воспоминание о чем во мне проходит от темени до пят электрической судорогой нестерпи-

мого стыда: побуждаемый Бог весть каким чувством, — не столько может быть благодарностью за сострадание, сколько состраданием же к состраданию чужому, я в порыве нервности и неуместного пробуждения души, на ходу взял и сжал его руку, — и мы оба одновременно слегка оступились; всё это длилось мгновение, — но, если б я тогда обнял его и припал губами к его страшной золотистой щетине, я бы не мог ныне испытывать большей муки. И вот, через двадцать пять лет я думаю: мы ведь шли вдвоем пустынными местами, и у меня был в кармане гришин револьвер, который не помню по каким соображениям я всё собирался спрятать; ведь я мог его уложить выстрелом в упор, и тогда не было бы ничего, ничего из того, что есть сейчас, ни праздников под проливным дождем, исполинских торжеств, на которых миллионы моих сограждан проходят в пешем строю, с лопатами, мотыгами и граблями на рабьих плечах, ни громковещателей, оглушительно размножающих один и тот же вездесущий голос, ни тайного траура в каждой второй семье, ни гаммы пыток, ни отупения, ни пятисаженных портретов, ничего... О, если б можно было когтями вцепиться в прошлое, за волосы втащить обратно в настоящее утраченный случай, снова воскресить ту пыльную улицу, пустыри, тяжесть в заднем кармане штанов, человека, шедшего со мной рядом!

Я вял и толст, как шекспировский Гамлет. Что я могу? От меня, скромного учителя рисования в провинциальной гимназии, до него, сидящего за множеством чугунных и дубовых дверей в неизвестной камере главной столичной тюрьмы, превращенной для него в замок (ибо этот тиран называет себя «пленником воли народа, избравшего его»), — расстояние почти невообразимое. Некто мне рассказывал, запершись со мной в погреб, про свою дальнюю родственницу старуху-вдову, которая вырастила двухпудовую репу и посею удостоилась высочайшего приема. Ее долго вели мраморными коридорами, без конца перед ней отпирая и за ней запирая опять очередь дверей, пока она не очутилась в белой, беспощадно-освещенной зале, вся обстановка которой состояла из двух золоченых стульев. Там ей было сказано ждать. Через некоторое время за дверью послышалось множество шагов и, с почтительными поклонами, пропуская друг друга, вошло человек пять его телохранителей. Испуганными глазами она искала его среди них; они же смотрели не на нее, а поверх ее головы, и обернувшись, она увидела, что сзади, через другую дверь, ею незамеченную, бесшумно вошел сам и, остановившись, положив руку на спинку стула, привычно поощрительно разглядывал государственную гостью. Затем он сел

и предложил ей своими словами рассказать о ее подвиге (тут же был принесен служителем и положен на второй стул глиняный слепок с ее овоща), и она в продолжение десяти незабвенных минут рассказывала, как репу посадила, как тащила ее из земли и всё не могла вытащить, хотя ей казалось, что призрак ее покойного мужа тащит вместе с ней, и как пришлось позвать сына, а потом внука да еще двух пожарных, отдохнувших на сеновале, и как, наконец, цугом пятась, чудовище вытащили. Он был, видимо, поражен ее образным рассказом: «Вот это поэзия, — резко обратился он к своим приближенным, — вот бы у кого господам поэтам учиться», — и сердито велел слепок отлить из бронзы, вышел вон. Но я реп не ращу, так что проникнуть к нему мне невозможно, да и если бы проник, как бы я донес заветное оружие до его логова?

Иногда он является народу, — и хотя не подпускают к нему близко, и каждому приходится поднимать тяжелое древко выданного знамени, дабы были заняты руки, и за всеми наблюдает несметная стража (не говоря о соглядатаях и соглядаяющих соглядатаев), очень ловкому и решительному человеку могло бы посчастливиться найти лазейку, сквозную секунду, какую-то мельчайшую долю судьбы, для того, чтобы ринуться вперед. Я перебрал в воображении все виды истребительных средств, от классического кинжала до плебейского динамита, но всё это зря, и недаром я часто вижу во сне, как нажимаю раз за разом собачку мягкого, расплзающегося в руке пистолета, а пули

одна за другой выпадают из ствола или как безвредный горох отскакивают от груди усмехающегося врага, который между тем, неторопясь, начинает меня сдавливать за ребра.

10

Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек, друг с другом незнакомых, но связанных между собой одним и тем же священным делом, так преобразившим их, что можно было даже заметить неопределенное между ними сходство, какое встречается, скажем, между пожилыми масонами. Это были люди разных профессий — портной, массажист, врач, цырюльник, пекарь, — но у всех была одна и та же вздутость осанки, одна и та же бережность размеренных движений. Еще бы! Один шил для него платье и, значит снимал мерку с его нежирного, а всё же бокастого тела, со странными, женскими бедрами и круглой спиной; значит — трогал его, почтительно лез подмышки и вместе с ним смотрел в зеркало, увитое золотым плющом; второй и третий проникли еще дальше: видели его голым, мяли ему мышцы и слушали сердце, по ритму которого у нас, говорят, скоро будут поставлены часы, т. е. в самом буквальном смысле его пульс будет взят за единицу времени; четвертый его брил, с шорохом вода вниз по щекам и вверх по шее нестерпимо для меня соблазнительным лезвием; пятый, наконец, пек для него хлеб, — по привычке, по глупо-

сти кладя в его любимую булку изюм вместо яда. Мне хотелось дотронуться до этих людей, чтобы хоть как-нибудь сопричаститься их таинственных, их дьявольских манипуляций; мне сдавалось, что их руки пропахли им, что через них он тоже присутствует... Всё было очень хорошо, очень чопорно. Мы говорили о вещах, к нему не относящихся, и я знал, что если имя его упомяну, у каждого из них в глазах промелькнет одна и та же жреческая тревога. И когда вдруг оказалось, что на мне костюм, сшитый моим соседом справа, и что ем я сдобный пирожок, запивая его особой водой, прописанной соседом слева, то мной овладело ужасное, чем-то во сне многозначительное чувство, от которого я сразу проснулся — в моей нищей комнате, с нищей луной в незанавешенном окне.

Всё же я признателен ночи и за такой сон: последнее время изнываю от бессонницы. Это так, словно меня заранее приучают к наиболее популярной из пыток, применяемых к нынешним преступникам. Я пишу «нынешним», потому, что с тех пор как он у власти, появилась как бы совершенно новая порода государственных преступников (других, уголовных, собственно и нет, так как мельчайшее воровство вырастает в казнокрадство, которое, в свою очередь, рассматривается как попытка подточить существующий строй), изысканно слабых, с прозрачнейшей кожей и лучистыми глазами на выкате. Это порода редкая и высоко ценяемая, как живой окапи или мельчайший вид лемура, и потому охотятся на них страстно, самозабвенно,

и каждый пойманный экземпляр встречается всенародным рукоплесканием, хотя в сущности никакого особого труда или опасности в охоте нет, — они совсем ручные эти странные прозрачные звери.

Пугливая молва утверждает, что он сам непрочь посетить застенки... но это едва ли так: министр почт не штемпелюет писем, а морской — не плещется в волнах. Мне вообще претит домашний сплетнический тон, которым говорят о нем его кроткие недоброжелатели, сбиваясь на особый вид простецкой шутки, как в старину народ придумывал сказки о чорте, в балаганный смех наряжая суеверный страх. Пошлые, спешно приспособленные анекдоты (восходящие к каким-то древним ирландским образцам) или закулисный факт из достоверного источника (кто в фаворе и кто нет, например) всегда отдают лакейской. Но бывает и того хуже: когда мой знакомый N., у которого всего три года тому назад казнили родителей (не говоря о позорных гонениях, которым сам N. подвергся), замечает, вернувшись с государственного праздника, где слышал и видел его: «а всё-таки, знаете, в этом человеке есть какая-то м о щ ь !» — мне хочется заехать N. в морду.

11

В своих «закатных» письмах великий иностранный художник говорит о том, что ко всему остыл, во всем разуверился, всё разлюбил, всё — кроме одного. Это одно — живой романтический трепет, до сих пор

его охватывающий при мысли об убогости его молодых лет по сравнению с роскошной полнотой пройденной жизни, со снежным блеском ее вершины, достигнутой им. Та первоначальная безвестность, те потемки поэзии и печали, в которых молодой художник был затерян на равных правах с миллионом малых сих, его теперь притягивают, возбуждая в нем волнение и благодарность — судьбе, промыслу, а также собственной творческой воле. Посещение мест, где он бедствовал когда-то, встречи с ничем незамечательными стариками-сверстниками полны для него такого сложного очарования, что изучения всех подробностей этих чувств хватит ему и на будущий загробный досуг духа.

И вот, когда я представляю себе что наш траурный правитель чувствует, соприкасаясь со *своим* прошлым, я ясно понимаю, во-первых, что настоящий человек — поэт, а, во-вторых, что он, наш правитель, воплощенное отрицание поэта. Между тем иностранные газеты, особенно те, что повечернее, знающие, как просто мираж превращается в тираж, любят отмечать легендарность его судьбы, вводя толпу читателей в громадный черный дом, где он родился, где до сих пор будто бы живут такие же бедняки, без конца развешивающие белье (бедняки очень много стирают), и тут же печатается Бог весть как добытая фотография его родительницы (отец неизвестен), коренастой женщины с чолкой, с широким носом, служившей в пивной у заставы. Очевидцев его отрочества и юно-

сти осталось так мало, а те, которые есть, отвечают так осторожно (меня, увы, не спросил никто), что журналисту надобна большая сила выдумки, чтобы изобразить, как сегодняшний властитель мальчиком верховодствовал в воинственных играх или как юношей читал до петухов. Его демагогические успехи трактуются, как стихия судьбы, — и разумеется много уделяется внимания тому темному зимнему дню, когда, выбранный в парламент, он с шайкой своих приверженцев парламент арестовал (после чего армия, бляя, немедленно перешла на его сторону).

Легенда не ахти какая, но это всё-таки легенда, в этом оттенке журналист не ошибся, легенда замкнутая и обособленная (т. е. готовая зажечь своей, островной, жизнью), и заменить ее настоящей правдой уже невозможно, хотя ее герой еще жив; невозможно, ибо он, единственный кто правду бы мог знать, не годится в свидетели, и не потому, что он пристрастен или лжив, а потому, что он *непомнящий*. О, конечно, он помнит старых врагов, помнит две-три прочитанных книги, помнит, как в детстве кабатчик напоил его пивом с водкой, или как выдрал за то, что он упал с верха поленницы и задавил двух цыплят т. е. какая-то грубая механика памяти в нем всё-таки работает, но если бы ему было богами предложено образовать себя из своих воспоминаний, с тем, что составленному образу будет даровано бессмертие, получился бы недоносок, муть, слепой и глухой карла, неспособный ни на какое бессмертие.

Посети он дом, где жил в пору нищеты, никакой трепет не пробежал бы по его коже, ниже трепет злобного тщеславия. Зато я-то навестил его бывшее жилище! Не тот многокорпусный дом, где, говорят, он родился, и где теперь музей его имени (старые плакаты, черный от уличной грязи флаг и — на почетном месте, под стеклянным колпаком — пуговица: всё, что удалось сберечь от его скупой юности), а те мерзкие номера, где он провел несколько месяцев во времена его близости к брату. Прежний хозяин давно умер, жильцов не записывали, так что никаких следов его тогдашнего пребывания не осталось. И мысль, что я один на свете (он-то ведь забыл эту свою стоянку, — их было так много) *знаю*, наполняла меня чувством особого удовлетворения, словно я, трогаящий эту мертвую мебель и глядящий на крышу в окно, держу в кулаке ключ от его жизни.

12

Сейчас у меня был еще гость: весьма потрепанный старик, который видимо находился в состоянии сильнейшего возбуждения, — обтянутые глянцевиной кожей руки дрожали, пресная старческая слеза увлажняла розовые отвороты век, бледная череда произвольных выражений от глуповатой улыбки до кривой морщины страдания бежала по его лицу. Моим пером он вывел на клочке бумаги цифру знаменательного года, с которого прошло почти столетия, и число,

месяц — дату рождения правителя. Он поглядел на меня, приподняв перо, как бы не решаясь продолжать, или только оттеняя запинкой поразительное коленце, которое сейчас выкинет. Я ответил поощрительно нетерпеливым кивком, и тогда он написал другую дату, на девять месяцев раньше первой, подчеркнул двойной чертой, разомкнул было губы для торжествующего смеха, но вместо этого закрыл вдруг лицо руками... «К делу, к делу», — сказал я, теребя этого скверного актера за плечо, и быстро оправившись, он полез к себе в карман и протянул мне толстую твердую фотографию, приобретающую с годами тускло-молочный цвет. На ней был снят плотный молодой человек в солдатской форме; фуражка его лежала на стуле, на спинку которого он с деревянной непринужденностью опустил руку, и на заднем фоне можно было различить бутафорскую баллюстраду, урну. При помощи двух-трех соединительных взглядов я убедился, что между чертами моего гостя и безтенным, плоским лицом солдата (украшенным усиками, а сверху сдавленным ежом, от которого лоб казался меньше) сходства немного, но что всё-таки это несомненно один и тот же человек. На снимке ему было лет двадцать, снимку же было теперь под пятьдесят, и без труда можно было заполнить этот пробел времени банальной историей одной из тех третьесортных жизней, знаки которых читаешь (с мучительным чувством превосходства, иногда ложного) на лицах старых торговцев тряпьем, сторожей городских скверов, озлобленных инвалидов.

Мне захотелось выпросить у него, каково ему жить с этой тайной, каково нести тяжесть чудовищного отцовства, видеть и слышать ежеминутное всенародное присутствие своего отпрыска... но тут я заметил, что сквозь его грудь просвечивает безвыходный узор обоев, — я протянул руку, чтобы гостя задержать, но он растаял, по-старчески дрожа от холода исчезновения.

И всё же он существует, этот отец (или еще недавно существовал), и если только судьба не дала ему спасительного неведения относительно имени его минутной подруги, Господи, какая мука блуждает среди нас, несмеющая сказаться — и может быть еще потому особенно острая, что у этого несчастнейшего человека нет полной уверенности в своем отцовстве, — ведь баба-то была гулящая, вследствие чего таких, как он, живет может быть на свете несколько, без устали высчитывающих сроки, мечущихся в аду избыточных цифр и недостаточного воспоминания, подло мечтающих извлечь выгоду из тьмы прошлого, боящихся немедленной кары (за ошибку, за кощунство, за чересчур паскудную правду), в тайне тайн гордящихся (всё-таки мощь!), сходящих с ума от своих выкладок и догадок... ужасно, ужасно...

13

Время идет, а я между тем увязаю в диких томных мечтах. Меня это даже удивляет: я знаю за собой немало поступков решительных и даже отважных, да

и не боюсь несколько гибельных для меня последствий покушения, — напротив, — вовсе не представляя себе его формы, я, однако, отчетливо вижу потасовку, которая последует тотчас за актом, — человеческий вихрь, хватающий меня, полишинелевую отрывочность моих движений среди жадных рук, треск разорванной одежды, ослепительную краску ударов — и затем (коли выйду жив из этого вихря), железную хватку стражников, тюрьму, быстрый суд, застенки, плаху, — и всё это ход громовой шум моего могучего счастья. Я не надеюсь на то, что мои сограждане сразу почувствуют и свое освобождение, я даже допускаю усиление гнета по инерции... Во мне ничего нет от гражданского героя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за себя, за свое благо и истину, за то благо и за ту истину, которые сейчас искажены и поправлены во мне и вне меня, а если кому-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше; если же нет, и родине моей нужны люди другого склада, чем я, охотно мирюсь со своей ненужностью, а дело свое всё-таки сделаю.

Жизнь слишком поглощена и окутана моей ненавистью, чтобы мне быть хоть сколько-нибудь приятной, а тошноты и черноты смертных мук я не боюсь, тем более, что чаю такую отраду, такую степень зачеловеческого бытия, которая не снится ни варварам, ни последователям старинных религий. Таким образом ум мой ясен, и рука свободна... а всё-таки не знаю, не знаю, как его убить.

Уж я думал: не потому ли это так, что убийство, намерение убить, нестерпимо в сущности пошло, и воображение, перебирающее способы и род оружия, производит работу унижительную, фальшь которой тем более чувствуешь, чем праведнее сила, толкающая тебя. И еще: может быть я не мог бы его убить из гадливости, как иной человек, испытывающий лютое отвращение ко всему ползучему, не в состоянии раздавить червяка на борозде, оттого что это было бы для него так, как если бы он каблуком давил пыльные концы своих собственных внутренностей. Но какие бы объяснения я ни подыскивал своей нерешительности, было бы неразумно скрывать от себя, что я должен его истребить, и что я его истреблю, — о, Гамлет, о, лунный олух...

14

Нынче он сказал речь по поводу закладки новой, многоярусной теплицы и заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в ниве, при чем для вящей поэзии произносил: клас, класы, и даже класиться, — не знаю, какой приторный школяр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм, зато теперь понимаю, почему последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения как «осколки стекла», «речные праги» или «и мудро наши ветринары вылечивают млечных крав».

В течение двух часов гремел по нашему городу громадный голос, вырываясь в различных степенях силы из того или другого окна, так что, ежели идти по улице (что, впрочем, почитается опасной неучтивостью, — сиди и слушай), получается впечатление, что он тебя сопровождает, обрушивается с крыши, пробирается на карачках у тебя промеж ног и, снова взмыв, клюет в темя, — квохтание, карканье, крик, карикатура на человеческое слово, и некуда от Голоса скрыться, и то же происходит сейчас в каждом городе, в каждом селенье моей благополучно оглушенной родины. Никто кроме меня, кажется, не заметил интересной черты его надрывного ораторства, а именно пауз, которые он делает между ударными фразами, совершенно как это делает вдрызг пьяный человек, стоящий в присутствии пьяным независимом, но неудовлетворенном одиночестве посреди улицы и произносящий обрывки бранного монолога с чрезвычайной увесистостью гнева, страсти, убеждения, но темного по смыслу и назначению, при чем поминутно останавливается, чтобы набраться сил, обдумать следующий период, дать слушателям вникнуть, — и паузу выдержав, дословно повторяет только что изверженное, таким тоном, однако, будто ему пришел на ум еще один довод, еще одна совершенно новая и неопровержимая мысль.

Когда, наконец, он иссяк, и безликие, бесщекие трубачи сыграли наш аграрный гимн, я не только не испытал облегчения, а напротив почувствовал тоску,

страх, утрату; покамест он говорил, я по крайней мере караулил его, знал, где он, и что делает, а теперь он опять растворился в воздухе, которым дышу, но в котором уже нет осязаемого средоточия.

Я понимаю гладковолосых женщин наших горных племен, когда, будучи покинуты любовником, они ежеутренне упорным нажимом коричневых пальцев, булавкой с бирюзовой головкой прокалывают насквозь пупок глиняному истуканчику, изображающему беглеца. Последнее время я часто занимаюсь тем, что пытаюсь с помощью всех сил души вообразить течение его забот и мыслей, пытаюсь попасть в ритм его существования, дабы оно поддалось и рухнуло, как висячий мост, колебания которого совпали бы со стройными шагами проходящего по нему отряда солдат. Отряд тоже погибнет, как погибну я, сойдя с ума в то мгновение, когда ритм уловлю, и он в своем дальнем замке падет замертво, но и при всяком другом виде тираноубийства я бы не остался цел. Поутру проснувшись, этак в половине девятого, я силюсь представить себе его пробуждение — он встает не рано и не поздно, а в средний час, точно так же как чуть ли не официально именуется себя «средним человеком». В девять я, как и он, удовлетворяюсь стаканом молока и сладкой булочкой, и если в данный день у меня нет занятий в школе, продолжаю погоню за его мыслями. Он прочитывает несколько газет, и я прочитываю их вместе с ним, ища, что может остановить его внимание, хотя вместе с тем знаю, что ему уже накануне бы-

ло известно общее содержание сегодняшней газеты, ее главные статьи, сводки и отчеты, так что никаких особенных поводов для государственного раздумья это чтение не может ему дать. Затем к нему приходят с докладами и вопросами его помощники. Вместе с ним я узнаю, как поживает железнодорожный транспорт, как потеется тяжелой промышленности, и сколько центнеров с гектара дала в этом году озимая пшеница. Разобрав несколько прошений о помиловании и начертав на них неизменный отказ, карандашный крест, — знак своей сердечной неграмотности — он до второго завтрака совершает обычную прогулку: как у многих ограниченных, лишенных воображения людей, ходьба любимое его физическое упражнение, а гуляет он по внутреннему саду замка, бывшему некогда большим тюремным двором. Знаю я и скромные блюда его трапезы и после нее отдыхаю вместе с ним, перебирая в уме планы дальнейшего процветания его власти или новые меры для пресечения крамолы. Днем мы осматриваем новое здание, форт, форум и другие формы государственного благосостояния, и я одобряю вместе с ним изобретателя новой форточки. Обед, обыкновенно парадный, с участием должностных лиц, я пропускаю, но зато к ночи сила моей мысли удваивается, я отдаю вместе с ним приказанья газетным редакторам, слушаю отчет вечерних заседаний, и один в своей темнеющей комнате шепчу, жестикулирую и всё безумнее надеюсь, что хоть одна моя мысль совпадет с его мыслью, — и тогда, я знаю, мост лопнет

как струна. Но невезение, знакомое слишком упорным игрокам, преследует меня, карта всё не выходит, хотя какую-то тайную связь я всё-таки, должно быть, с ним наладил, ибо часов в одиннадцать, когда он ложится спать, я всем своим существом ощущаю провал, пустоту, печальное облегчение и слабость. Он засыпает, он засыпает, и так как на его арестантском ложе ни одна мысль не беспокоит его перед сном, то и я получаю отпуск, и только изредка, уже без всякой надежды на успех, стараюсь сложить его сны, комбинируя обрывки его прошлого с впечатлениями настоящего, но вероятно он снов не видит и я работаю зря, и никогда, никогда не раздастся среди ночи его царственный хрип, дабы история могла отметить: диктатор умер во сне.

15

Как мне избавиться от него? Я не могу больше. Всё полно им, всё, что я люблю оплевано, всё стало его подобием, его зеркалом, и в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников, всё яснее и безнадежнее проступает его облик. Не только плакаты, которые я обязан давать им срисовывать, лишь толкуют линии его личности, но и простой белый куб, который даю в младших классах, мне кажется его портретом, — его лучшим портретом быть может. Кубический, страшный, как мне избыть тебя?

И вот я понял, что есть у меня способ! Было морозное неподвижное утро, с бледно-розовым небом и глыбами льда в пастях водосточных труб; стояла всюду гибельная тишина: через час город проснется— и как проснется! В тот день праздновалось его пятидесятилетие, и уже люди выползали на улицы, черные, как ноты, на фоне снега, чтобы во время стянуться к пунктам, где из них образуют различные цеховые шествия. Рискуя потерять свой малый заработок, я не снаряжался в этот праздничный путь, — другое, поважнее, занимало меня. Стоя у окна, я слышал первые отдаленные фанфары, балаганный зазыв радио на перекрестке, и мне было спокойно от мысли, что я, я один, всё это могу пресечь. Да, выход был найден: убийство тирана оказалось теперь таким простым и быстрым делом, что можно было совершить его, не выходя из комнаты. Оружием для этой цели были все-го-навсего либо старый, но отлично сохранившийся револьвер, либо крюк над окном, должно быть служивший когда-то для поддержки штанги с портьерой. Второе было даже лучше, так как я не был уверен в действенности двадцать пять лет пролежавшего патрона.

Убивая себя, я убивал его, ибо он весь был во мне, упитанный силой моей ненависти. С ним заодно я уби-

вал и созданный им мир, всю глупость, трусость, жестокость этого мира, который с ним разросся во мне, вытесняя до последнего солнечного пейзажа, до последнего детского воспоминания, все сокровища, собранные мною. Зная теперь свою власть, я наслаждался ею, неторопливо готовясь к покушению на себя, перебирая вещи, перечитывая эти мои записи... И вдруг невероятное напряжение чувств, одолевавшее меня, подверглось странной, как бы химической метаморфозе. За окном разгорался праздник, солнце обращало синие сугробы в искристый пух, над дальними крышами играл недавно изобретенный гением из народа фейерверк, красочно блистающий и при дневном свете. Народное ликование, алмазные черты правителя, вспыхивающие в небесах, нарядные цвета шествия вьющегося через снежный покров реки, прелестные картонажные символы благосостояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнообразно и красиво оформленные лозунги, простая, бодрая музыка, оргия флагов, довольные лица парнюг и национальные костюмы здоровенных девок, — всё это на меня нахлынуло малиновой волною умиления, и я понял свой грех перед нашим великим, милостивым Господином. Не он ли удобрил наши поля, не его ли заботами обуты нищие, не ему ли мы обязаны каждой секундой нашего гражданского бытия? Слезы раскаяния, горячие, хорошие слезы, брызнули у меня из очей на подоконник, когда я подумал, что я, отвратившийся от доброты Хозяина, я, слепо отрицавший красоту им созданного

стройка, быта, дивных новых заборов под орех, собираюсь наложить на себя руки, — смею, таким образом, покушаться на жизнь одного из его подданных! Праздник, как я уже говорил, разгорался, и весь мокрый от слез и смеха я стоял у окна, слушая стихи нашего лучшего поэта, которые декламировал по радио чудный актерский голос, с баритональной игрой в каждой складочке:

Хорошо с, — а помните, граждане,
как хирел наш край без отца?
Так без хмеля сильнейшая жажда
не создаст ни пивца, ни певца.

Вообразите, ни реп нет,
ни баклажанов, ни брюкв...
Так и песня, что днесь у нас крепнет,
задыхалась в луковках букв.

Шли мы тропиной исторенной,
горькие ели грибы,
пока ворота истории
не дрогнули от колотьбы!

Пока, белизною кительной
сияя верным сынам,
с улыбкой своей удивительной
Правитель не вышел к нам!

Да, сияя, да, грибы, да, удивительной, — правильно... я маленький, я, бедный слепец, ныне прозревший, падаю на колени и каюсь перед тобой. Казни меня — или нет, лучше помилуй, ибо казнь твоя милость, а милость — казнь, озаряющая мучительным, благостным светом всё мое беззаконие. Ты наша гордость, наша слава, наше знамя! Великолепный, добрый наш исполин, пристально и любовно следящий за нами, клянусь отныне служить тебе, клянусь быть таким, как все прочие твои воспитанники, клянусь, что буду твой нераздельно, — и так далее, и так далее, и так далее.

17

Смех, собственно, и спас меня. Пройдя все ступени ненависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно как на ладони *смешное*. Расхохотавшись, я исцелился, как тот анекдотический мужчина, у которого «лопнул в горле нарыв при виде уморительных трюков пуделя». Перечитывая свои записи, я вижу, что, стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным, — и казнил его именно этим — старым испытанным способом. Как ни скромн я сам в оценке своего сумбурного произведения, что-то, однако, мне говорит, что написано оно пером недюжинным. Далекий от литературных затей, но зато полный слов, которые годами выковывались в моей яростной тишине, я взял искренностью и насыщенностью чувств там, где

другой взял бы мастерством да вымыслом. Это есть заклятье, заговор, так что отныне заговорить рабство может каждый. Верю в чудо. Верю в то, что каким-то образом, мне неизвестным, эти записи дойдут до людей, не сегодня и не завтра, но в некое отдаленное время, когда у мира будет денек досуга, чтоб заняться раскопками, — накануне новых неприятностей, не менее забавных, чем нынешние. И вот, как знать... допускаю мысль, что мой случайный труд окажется бессмертным и будет сопутствовать векам, — то гонимый, то восхваляемый, часто опасный и всегда полезный. Я же, «тень без костей», буду рад, если плод моих забытых бессонниц послужит на долгие времена неким тайным средством против будущих тиранов, тигроидов, полоумных мучителей человека.

Берлин, 1936 г.

Василий Шишков

Мои воспоминания о нем сосредоточены в пределах весны сего года. Был какой-то литературный вечер. Когда, воспользовавшись антрактом, чтоб поскорее уйти, я спускался по лестнице, мне послышался будто шум погони, и, обернувшись, я увидел его в первый раз. Остановившись на две ступени выше меня, он сказал:

— Меня зовут Василий Шишков. Я поэт.

Это был крепко скроенный молодой человек в русском роде толстогубый и сероглазый, с басистым голосом и глубоким, удобным рукопожатием.

— Мне нужно кое о чем посоветоваться с вами, — продолжал он, — желательно было бы встретиться.

Неизбалованный такими желаниями, я отвечал почти умиленным согласием, и было решено, что он на следующий день зайдет ко мне в гостиницу. К назначенному часу я сошел в подобие хола, где в это время было сравнительно тихо, — только изредка маневрировал судорожный лифт, да в обычном своем

углу сидело четверо немецких беженцев, обсуждая некоторые паспортные тонкости, при чем один думал, что он в лучшем положении, чем остальные, а те ему доказывали, что в таком же. (Потом явился пятый, приветствовал земляков почему-то по-французски, — юмор? щегольство? соблазн нового языка? Он только-что купил себе шляпу, и все стали ее по очереди примерять).

С серьезным выражением лица и плеч осилив неповоротливые двери, Шишков едва успел осмотреться, как увидел меня, и тут приятно было отметить, что он обошелся без той условной улыбки, которой я так боюсь, хотя сам ей подвержен. Не без труда я сдвинул два кресла, и опять было приятно — оттого что, вместо машинального наброска содействия, он остался вольно стоять, выжидая пока я всё устрою. Как только мы у ourselves, он достал палевую тетрадь.

— Прежде всего, — сказал он, внимательно глядя на меня своими хорошими мохнатыми глазами, — следует предъявить бумаги, — ведь правда? В участке я показал бы удостоверение личности, а вам мне приходится предъявить вот это, — тетрадь стихов.

Я раскрыл ее. Крепкий, слегка влево наклоненный почерк дышал здоровьем и даровитостью. Увы, как только мой взгляд заходил по строкам, я почувствовал болезненное разочарование. Стихи были ужасные, — плоские, пестрые, зловеще претенциозные. Их совершенная бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малогра-

мотностью рифм. Достаточно сказать, что сочетались такие пары, как «жасмина» и «выражала ужас мина», «беседки» и «бес едкий», «ноктюрны» и «брат двоюрный», — а о темах лучше вовсе умолчать: автор с одинаковым удалством воспевал всё, что ему подалось под лиру. Читать подряд было для нервного человека истязанием, но так как моя добросовестность усугублялась тем, что автор твердо следил за мной, одновременно контролируя очередной предмет чтения, мне пришлось задержаться на каждой странице.

— Ну как, — спросил он, когда я кончил, — не очень плохо?

Я посмотрел на него. Никаких дурных предчувствий его слегка блестящее, с расширенными порами, лицо не выражало. Я ответил, что стихи безнадежны. Шишков щелкнул языком, сгреб тетрадь в карман и сказал:

— Бумаги не мои, т. е. я-то сам написал, но это так, фальшивка. Все тридцать сделаны сегодня, и было довольно противно пародировать продукцию графоманов. Теперь зато знаю, что вы безжалостны, т. е. что вам можно верить. Вот мой настоящий паспорт. (Шишков мне протянул другую тетрадь, гораздо более потрепанную), прочтите хоть одно стихотворение, этого и вам и мне будет достаточно. Кстати, во избежание недоразумений, хочу вас предупредить, что я ваших книг не люблю, они меня раздражают, как сильный свет или как посторонний громкий разговор, когда хочется не говорить, а думать. Но вместе с тем

вы обладаете, чисто физиологически, что ли, какой-то тайной писательства, секретом каких-то основных красок, т. е. чем-то исключительно редким и важным, которое вы к сожалению применяете попустому, в небольшую меру ваших общих способностей... разъезжаете, так сказать, по городу на сильной и совершенно вам ненужной гоночной машине и всё думаете куда бы еще катнуть... Но так как вы тайной обладаете, с вами нельзя не считаться, — потому-то я и хотел бы заручиться вашей помощью в одном деле, но сначала пожалуйста взгляните.

(Признаюсь, неожиданная и непрощенная характеристика моей литературной деятельности показала мне куда бесцеремоннее, чем придуманный моим гостем невинный обман. Пишу я ради конкретного удовольствия, печатаю ради значительно менее конкретных денег, и, хотя этот второй пункт должен подразумевать так или иначе существование потребителя, однако, чем больше, в порядке естественного развития, отдаляются мои книги от их самодовлеющего источника, тем отвлеченнее и незначительнее мне представляются их случайные приключения, и уж на так называемом читательском суде я чувствую себя не обвиняемым, а разве лишь дальним родственником одного из наименее важных свидетелей. Другими словами, хвала мне кажется странной фамильярностью, а хула — праздным ударом по призраку. Теперь я старался решить, всякому ли самолюбивому литератору Шишков так вываливает свое искреннее мнение или

только со мной не стесняется, считая, что я это заслужил. Я заключил, что, как фокус со стихами был вызван несколько ребяческой, но несомненной, жаждой правды, так и его суждение обо мне диктовалось желанием как можно шире раздвинуть рамки взаимной откровенности.)

Я почему-то боялся, что в подлиннике найдутся следы недостатков, чудовищно преувеличенных в пародии, но боялся я напрасно. Стихи были очень хороши, — я надеюсь как-нибудь поговорить о них гораздо подробнее. Недавно по моему почину одно из них появилось в свет, и любители поэзии заметили его своеобразность... Поэту, столь странно охочему до чужого мнения, я тут же высказал его, добавив в виде поправки, что кое-где заметны маленькие зыбкости слога — вроде, например, «в солдатских мундирах».

— Знаете что, — сказал Шишков, — раз вы согласны со мной, что моя поэзия не пустяки, сохраните у себя эту тетрадку. Мало ли что может случиться, у меня бывают странные, очень странные мысли, и... словом, я сейчас только подумал, что так очень хорошо складывается. Я собственно шел к вам, чтобы просить вас участвовать в журнале, который затеваю, — в субботу будет у меня собрание, и должно всё решиться. Конечно, я не обольщаюсь вашей способностью увлекаться мировыми проблемами, но мне кажется, идея моего журнала вас заинтересует со стилистической стороны, — так что приходите. Между

прочим, будет (он назвал очень знаменитого русского писателя), еще кое-кто. Понимаете, я дошел до какой-то черты, мне нужно непременно как-то разрядиться, а то сойду с ума. Мне скоро тридцать лет, в прошлом году я приехал сюда, в Париж, после абсолютно бесплодной юности на Балканах, потом в Австрии. Я переплетчик, наборщик, был даже библиотекарем, — словом вертелся всегда около книги. А всё-таки я жил бесплодно, и с некоторых пор мне прямо до взрыва хочется что-то сделать, — мучительное чувство, — ведь вы сами видите, — может, с другого бока, но всё-таки должны видеть, — сколько всюду страдания, кренинизма, мерзости, — а люди моего поколения ничего не замечают, ничего не делают, а ведь это просто необходимо, как вот дышать или есть. И поймите меня, я говорю не о больших, броских вещах, которые всем намозолили душу, а о миллионах мелочей, которых люди не видят, хотя они-то и суть зародыши самых явных чудовищ. Вот, например, недавно, — эта мать, которая, потеряв терпение, утопила двухлетнюю девочку в ванне, и потом сама выкупалась, — ведь не пропадать же горячей воде. Боже мой, сравните с «посолеными щами», с тургеневской синелью... Мне совершенно всё равно, если вам кажется смешным, что количество таких мелочей, каждый день, всюду, разного калибра, разной формы, хвостиками, точками, кубиками, — может так волновать человека, что он задыхается и теряет аппетит, — но, может быть, вы всё-таки придете.

Наш разговор я здесь соединил с выдержками из пространного письма, которое Шишков мне прислал на другой день в виде подкрепления. В субботу я слегка запоздал, и, когда вошел в его столь же бедную, как и опрятную комнату, все уже были в сборе, не хватало только знаменитого писателя. Из присутствующих я знал в лицо редактора одного бывшего издания; остальные, — обширная дама (кажется, переводчица или теософка) с угрюмым маленьким мужем, похожим на черный брелок, двое потрепанных господ в Mad'овских пиджаках и энергичный блондин, видимо приятель хозяина, — были мне неизвестны. Заметив, что Шишков озабоченно прислушивается, заметив далее, как он решительно и радостно оперся о стол и уже привстал, прежде чем сообразить, что это звонят в другую квартиру, я искренне пожелал прихода знаменитости, но она так и не явилась. «Господа», — сказал Шишков, — и стал довольно хорошо и интересно развивать свои мысли о журнале, который должен был называться «Обзор Страдания и Пошлости» и выходить ежемесячно, состоя преимущественно из собранных за месяц газетных мелочей соответствующего рода, при чем требовалось их размещать в особом, «восходящем» и вместе с тем «гармонически незаметном», порядке. Бывший редактор привел некоторые цифры и выразил уверенность, что журнал такого типа не окупится никогда. Муж обширной литераторши, сняв пенснэ, страшно растягивая слова и массируя себе переносицу, сказал, что, если уж бо-

роться с человеческим страданием, то гораздо практичнее раздать бедным ту сумму, которая нужна для основания журнала, — и так как эта сумма ожидалась от него, то прошел холодок. Затем приятель хозяина, гораздо бойчее и хуже, повторил в общих чертах то, что говорил Шишков. Спросили и мое мнение; видя выражение лица Шишкова, я приложил все силы, чтобы поддержать его проект. Разошлись непоздно. Провожая нас на площадку, Шишков оступился и несколько долее, чем полагалось для поощрения смеха, остался сидеть на полу, бодро улыбаясь, с невозможными глазами.

Через несколько дней он опять меня посетил, и опять в углу четверо толковали о визах, и потом пришел пятый и бодро сказал: «*Bonjour, Monsieur Weiss, bonjour, Monsieur Meyer*». На мой вопрос, Шишков рассеянно и даже как-то нехотя ответил, что идея журнала признана неосуществимой, и что он об этом больше не думает.

— Вот что я хотел вам сказать, — заговорил он после стесненного молчания, — я всё решал, решал и, кажется, более или менее решил. Почему именно я в таком состоянии, вам вряд ли интересно, — что мог, я объяснил вам в письме, но это было применительно к делу, к тому журналу... Вопрос шире, вопрос безнадежнее. Я решал, что делать, как прервать, как уйти. Убраться в Африку, в колонии? Но не стоит затевать геркулесовых хлопот только ради того, чтобы среди фиников и скорпионов думать о том же, о чем я ду-

маю под парижским дождем. Сунуться в Россию? нет — это полымя. Уйти в монахи? но религия скучна, чужда мне и не более чем как сон относится к тому, что для меня есть действительность духа. Покончить с собой? Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах, да кроме того боюсь последствий, которые и не снились любомудрию Гамлета. Значит остается способ один, — исчезнуть, раствориться.

Он еще спросил, в сохранности ли его тетрадь, и вскоре затем ушел, широкоплечий, слегка всё-таки сутулый, в макинтоше, без шляпы, с обросшим затылком, — необыкновенно симпатичный, грустный, чистый человек, которому я не знал, что сказать, чем помочь.

Через неделю я покинул Париж и едва ли не в первый день по возвращении встретил на улице шишковского приятеля. Он сообщил мне престранную историю: с месяц тому назад «Вася» пропал, бросив всё свое небольшое имущество. Полиция ничего не выяснила, — кроме того, что пропавший давно просрочил то, что русские называют «картой».

Так это и осталось. На случае, с которого начнутся криминальные романы, кончается мой рассказ о Шишкове. Скучные биографические сведения, добытые у его случайного приятеля, я записал, — они когда-нибудь могут пригодиться. Но куда же он всё-таки исчез? Что вообще значили эти его слова — «исчезнуть», «раствориться»? Неужели же он в каком-

то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи? Не переоценил ли он «прозрачность и прочность такой необычной гробницы»?

Париж, 1940 г.

Адмиралтейская игла

Вы меня извините, милостивая государыня, я человек грубый и прямой, а потому сразу выпалю: не обольщайтесь, — сие письмо исходит вовсе не от поклонника Вашего таланта, — оно, как Вы сейчас удостоверитесь сами, довольно странное и, может статься, послужит не только Вам, но и прочим стремительным романисткам, некоторым уроком. Спешу прежде всего представиться Вам, дабы зримый облик мой просвечивал, вроде как водяной знак, — что гораздо честнее, чем молчанием потакать тем неправильным заключениям, которые глаз невольно выводит из начертания строк. Нет, — несмотря на мой поджарый почерк и молодую прыть запятых, я жирный, я пожилой; правда, полнота моя — не вялая, в ней есть изюминка, игра, злость. Это Вам, сударыня, не отложенные воротнички поэта Алухтина. Впрочем — будет: Вы, как писательница, уже доделали меня всего по этим намекам. Здравствуйте. А теперь перейдем к сути.

На днях, в русской библиотеке, загнанной безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали три-четыре новинки, — между прочим, Ваш роман «Адмиралтейская Игла». Заглавие ладное, — хотя бы потому, что это четырехстопный ямб, неправда ли, — и притом знаменитый. Но вот это-то ладное заглавие и не предвещало ничего доброго. Кроме того, я вообще, побаиваюсь книг, изданных в лимитрофах. Всё же, говорю я, Ваш роман я взял.

О милостивая государыня, о госпожа Сергей Солнцев, как легко угадать, что имя автора — псевдоним, что автор — не мужчина! Все Ваши фразы запахиваются налево. Пристрастие к таким выражениям, как «время шло» или «зябко куталась в мамин платок», неизбежное появление эпизодического корнета, произносящего «р», как «г», и, наконец, сноски с переводом всем известных французских словечек, достаточно определяют степень Вашей литературной опытности. Но всё это еще полбеда.

Представьте себе такую вещь: я, скажем, однажды гулял по чудным местам, где бегут бурные воды, и повилика душит столпы одичалых развалин, — и вот, спустя много лет, нахожу в чужом доме снимок: стою гоголем возле явно бутафорской колонны, на заднем плане — белесый мазок намалеванного каскада, и кто-то чернилами подрисовал мне усы. Откуда это? Уберите эту мерзость! Там воды гремели настоящие, а главное, я там не снимался никогда.

Пояснить ли Вам притчу? Сказать ли Вам, что

такое же чувство, только еще глупее и гаже, я испытал при чтении Вашей страшной, Вашей проворной «Иглы»? Указательным пальцем взрывая страницы, глазами мчась по строкам, я читал и только отмигивался, — так был изумлен!

Вы хотите знать, что случилось? Извольте. Грузно лежа в гамаке и беззаботно водя вечным пером (что почти каламбур), Вы, сударыня, написали историю моей первой любви. Изумлен, изумлен, и, так как я тоже грузный, изумление сопряжено с одышкой. Вот мы с Вами пыхтим, ибо несомненно и Вы ошарашены тем, что объявился герой, Вами выдуманный. Нет, я обмолвился... Гарнир — Ваш, положим, фарш и соус тоже Ваши, но дичь (опять почти каламбур), дичь, сударыня, не Ваша, а моя, с моей дробинкой в крылышке. Диву даюсь, — где и как неведомой даме удалось похитить мое прошлое? Неужели приходится допустить, что Вы знакомы с Катей, — более того, хороши с ней, — и что она всё Вам и выболтала, сумерничая под балтийскими соснами вместе с Вами, прожорливой романисткой? Но как Вы смели, как хватило у Вас бесстыдства, не только использовать катин рассказ, но еще исказить его так непоправимо?

Со дня последнего свидания прошло шестнадцать с лишком лет, — возраст невесты, старого пса или советской республики. Кстати, отметим первую, но отнюдь не худшую, из Ваших несметных и смутных ошибок: мы не ровесники с Катей, — мне шел семнадцатый год, — ей двадцатый. Доверюсь испытанно-

му методу, Вы заставляете свою героиню обнажиться перед трюмо и затем описываете ее распущенные, пепельные (конечно) волосы и юные формы. По-вашему ее васильковые глаза становились в минуты задумчивости фиалковыми: ботаническое чудо! Вы их оттенили черной бахромой ресниц, которая, добавлю от себя, как бы удлинялась к внешним углам, придавая глазам разрез особенный, но мнимый. Катя была стройна, но слегка горбилась, — приподнимала плечи, входя в комнату. Она у Вас — статная девушка с грудными нотками.

Это мучительно, — я думал было выписать Ваши образы, которые все фальшивы, и язвительно сопоставить с ними мои непогрешимые наблюдения, — но получается «кошмарная чепуха», как сказала бы настоящая Катя, — а именно: логос, отпущенный мне, не обладает достаточной точностью и мощностью, чтобы распутаться с Вами; напротив сам застаеваю в липких тенетах Вашей условной изобразительности, и вот уже нет у меня сил спасти Катю от Вашего пера. И всё-таки я буду, как Гамлет, спорить, — и переспорю Вас.

Тема Вашего произведения — любовь, слегка декадентская, на фоне начавшейся революции. Катю Вы назвали Ольгой, а меня — Леонидом. Допустим. Наше первое знакомство — на елке у общих друзей, — встречи на Юсуповском катке, ее комната с темносиними обоями, мебелью из красного дерева и одним единственным украшением: фарфоровой балериной,

поднявшей ножку, — всё это так, всё это правда, — однако Вы умудрились подернуть всё это налетом какой-то фасонистой лжи. Занимая свое место в кинематографе «Паризиана», Леонид кладет перчатки в треуголку, но через две-три страницы он уже оказывается в партикулярном платье, — снимает котелок, и перед читателем — элегантный юноша с пробором по самой середине маленькой, словно налакированной головы и фиолетовым платочком, свесившимся из карманчика. Помню, действительно, что я одевался под Макса Линдера, и помню, как щедро прыщущий вежеталь холодил череп, и как мсье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом линотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому усачу: «Мальшйк, пашйсть!» К тогдашнему платочку и белым гетрам моя память относится ныне с иронией, — но вот уж никак не может примирить воспоминание о муках слишком раннего бритья с матовой, ровной бледностью о которой Вы пишете. И я оставляю на Вашей совести мои лермонтовские глаза и породистый профиль, благо теперь ничего не разобрать, в виду неожиданного ожирения.

Боже, не дай мне погрязнуть в прозе этой пишущей дамы, которой я не знаю и не хочу знать, но которая с поразительной наглостью посягнула на чужое прошлое! Как Вы смеете писать, что «красивая елка, переливаясь огнями, казалось сулила им радость ликующую»? Вы всё потушили своим дыханием, — ибо достаточно одного прилагательного, поставленного,

ради красоты, позади существительного, чтобы извести лучшее воспоминание. До несчастья, т. е. до Вашей книги, таким воспоминанием был для меня зыбкий, мелкий свет в катиных глазах и малиновый отблеск на щеке от глянцевого домика, висевшего с ветки, когда, отстраняя хвóю, она тянулась вверх, чтобы щипком прикончить обезумевшую свечку. Что же теперь мне осталось от этого? Ничего, — только тошный душок литературной гари.

По-вашему выходит так, что мы с Катей вращались в каком-то изысканно культурном бо-монде. Ошибка на параллакс, сударыня. В среде — пускай светской, — к которой Катя принадлежала, вкусы были по меньшей мере отсталые. Чехов считался декадентом, К. Р. — крупным поэтом, Блок — вредным евреем, пишущим футуристические сонеты об умирающих лебедях и лиловых ликерах. Какие-то французские и английские стихи ходили в списках по рукам и списывались снова, не без искажений, причем имя автора незаметно выпадало, так что они совершенно случайно приобретали соблазнительную анонимность, да и вообще, их странствования забавно сопоставить с подпольным списыванием крамольных стишков, практиковавшимся в других кругах. О том, сколь незаслуженно эти женские и мужские монологи о любви считались образцами новейшей иностранной лирики, можно судить по тому, что баловнем среди них было стихотворение бедного Луи Буйе, писавшего в середине прошлого века. Катя, упиваясь рокомом, декла-

мировала его и злилась, когда я придирался к звучащей строфе, где назвав свою страсть смычком, автор сравнивает свою подругу с гитарой. Кстати, о гитаре. Вы пишете, мадам, что «по вечерам собиралась молодежь, и Ольга, облокотясь, пела роскошным контральто». Что ж — еще одна смерть, еще одна жертва Вашей роскошной прозы. А как я лелеял отзвук той цыганщины, которая склоняла Катю к пению, меня к сочинению стихов... Я знаю, что это была цыганщина уже ненастоящая, не та, что пленяла Пушкина, даже не григорьевская муза, а полудышащая, затасканная, обреченная, — причем всё содействовало ее гибели, и граммофон, и война, и всякие «песенки». Недаром, в очередном припадке провидения, Блок записал какие помнил слова романсов, точно торопясь спасти хоть это, пока не поздно.

Сказать ли Вам, что бормотание и жалобы эти значили для нас? Открыть ли Вам образ далекого, странного мира, где, низко склонясь над прудом, дремлют ивы, и страстно рыдает соловушка в сирени, и встает луна, и всеми чувствами правит память — этот злой властелин ложно-цыганской романтики? Нам с Катей тоже хотелось вспоминать, но так как вспоминать было нечего, мы подделывали даль и свое счастливое настоящее отодвигали туда. Мы превращали всё видимое в памятники, посвященные нашему — еще небывшему — былому, глядя на тропинку, на луну, на ивы теми глазами, которыми теперь мы бы взглянули, — с полным сознанием невозместимости утрат,

— на тот старый, топкий плот на пруду, на ту луну над крышей коровника. Я полагаю даже, что по смутному наитию мы заранее кое-к-чему готовились, — учась вспоминать и упражняясь в тоске по прошлому, дабы впоследствии, когда это прошлое действительно у нас будет, знать, как обращаться с ним и не погибнуть под его бременем.

Но какое Вам дело до всего этого! Описывая, как я летом гостил в Глинском, Вы загоняете меня в лес и там меня принуждаете писать стихи, дышащие молодостью и верой в жизнь. Всё это происходило не совсем так. Пока остальные играли в теннис — одним красным мячом и какими-то пудовыми расхлябанными ракетками, найденными на чердаке, — или в крокет, на круглой площадке, до смешного плёвелистой, с одуванчиком перед каждой дужкой, — мы с Катей иной раз удирали на огород и, присев на корточки, наедались доотвалу: была яркая виктория, была ананасовая — зеленовато-белая, чудесно-сладкая, — была клубника, обмусоленная лягушкой; не выпрямляя спин, мы передвигались по бороздам и кряхтели, и поджилки ныли, и темной, алой тяжестью наполнялось нутро. Жарко наваливалось солнце, — и это солнце, и земляника, и катино чесучевое платье, потемневшее подмышками, и поволока загара сзади на шее, — в какое тяжелое наслаждение сливалось всё это, какое блаженство было, — не поднимаясь, продолжая рвать ягоды, — обнять Катю за теплое плечо и слушать, как она, шаря под листьями, охает, посме-

ивается, потрескивает суставами. Извините меня, если от этого огорода, плывущего мимо, в ослепительном блеске парников и колыхании мохнатых маков, я прямо перейду к тому закуту, где, сидя в позе роденовского мыслителя, с еще горячей от солнца головой, сочиняю стихи. Они были во всех смыслах ужасно печальны, эти стихи, — в них звучали и соловьи романсов, и кое-что из наших символистов, и беспомощные отголоски недавно прочитанного: *Souvenir, Souvenir, que me veux-tu? L'automne...* — хотя осень еще была далека, и счастье мое чудным голосом орало поблизости, где-то, должно быть, у кегельбана, за старыми кустами сирени, под которыми свален был кухонный мусор, и ходили куры. А по вечерам, на веранде, из красной, как генеральская подкладка, пасти граммофона, вырывалась с трудом сдерживаемая цыганская страсть, или на мотив «Спрятался месяц за тучку» грозный голос изображал Вильгельма: «Дайте перо мне и ручку, хочу ультиматум писать», — а на площадке сада катин отец, расстегнув ворот, выставив вперед ногу в мягком сапоге, целился, как из ружья, в рюхи и бил сильно, но мимо, — и заходящее солнце концом последнего луча перебирало по частоколу сосновых стволов, оставляя на каждой огненную полосу. И когда, наконец, наступала ночь, и в доме спали, мы из аллеи смотрели с Катей на темный дом и до ломоты засиживались на холодной, невидимой скамейке, — и всё это казалось нам чем-то уже давным давно прошедшим, — и очертания дома на зеленом

небе, и сонное движение листвы, и наши длительные слепые поцелуи.

Красиво, с обилием многоточий, изображая то лето, Вы конечно ни на минуту не забываете, — как забывали мы, — что с февраля «страной правило Временное Правительство», и заставляете нас с Катей чутко переживать смуту, т. е. вести (на десятках страниц) политические и мистические разговоры, которых — уверяю Вас — мы не вели никогда. Я, во-первых, постеснялся бы с таким добродетельным пафосом говорить о судьбе России, а во-вторых, мы с Катей были слишком поглощены друг другом, чтобы засматриваться на революцию. Достаточно сказать, что самым ярким моим впечатлением из этой области был совсем пустяк: как-то, на Миллионной, грузовик, набитый революционными весельчаками, неуклюже, но всё же метко вильнув в нужную сторону, нарочно раздавил пробегавшую кошку, — она осталась лежать в виде совершенно плоского, выглаженного, черного лоскута, только хвост был еще кошачий, — стоял торчком, и кончик, кажется, двигался. Тогда это меня поразило каким-то сокровенным смыслом, но с тех пор мне пришлось видеть, как в мирной испанской деревне автобус расплющил точно таким же манером точно такую же кошку, так что в сокровенных смыслах я разуверился. Вы же не только раздули до неузнаваемости мой поэтический дар, но еще сделали из меня пророка, ибо только пророк мог бы осенью семнадцатого

года говорить о зеленой жиже ленинских мозгов или о внутренней эмиграции.

Нет, в ту осень, в ту зиму, мы не о том говорили. Я погибал. С любовью нашей Бог знает что творилось. Вы это объясняете просто: «Ольга начинала понимать, что была скорей чувственная, чем страстная, а Леонид — наоборот. Рискованные ласки, понятно, опьяняли ее, но в глубине оставался всегда нарастающий кусочек», и так далее, в том же претенциозно-пошлом духе. Что Вы поняли в нашей любви? Я сознательно избегал до сих пор прямо говорить о ней, но теперь, кабы не боязно было заразиться Вашим слогом, я подробнее изобразил бы и веселый ее жар, и ее основную унылость. Да, — было солнце, полный шум листвы, безумное катание на велосипедах по всем излучистым тропинкам парка, — кто скорей домчится с разных сторон до срединной звезды, где красный песок был сплошь в клубящихся змеевидных следах от наших до каменной твердости надутых шин, — и всякая живая, дневная мелочь этого последнего русского лета надрываясь кричала нам: вот я — действительность, вот я — настоящее! И пока всё это солнечное держалось на поверхности, врожденная печаль нашей любви не шла дальше той преданности небывшему быломu, о которой я уже упоминал. Но когда мы с Катей опять оказались в Петербурге, и уже не раз выпал снег, и уже торцы были покрыты той желтоватой пеленой, смесью снега и навоза, без которой я не

мыслью русского города, — изъян обнаружился, и ничего не осталось нам, кроме страдания.

Я вижу ее снова, в котиковой шубе, с большой плоской муфтой, в серых ботиках, отороченных мехом, передвигающуюся на тонких ногах по очень скользкой панели, как на ходулях, — или в темном, закрытом платье, сидящую на синей кушетке, с лицом пушистым от пудры после долгих слез. Идя к ней по вечерам и возвращаясь за полночь, я узнавал среди каменной морозной, сизой от звезд ночи невозмутимые и неизменные вехи моего пути, — всё те же огромные петербургские предметы, одинокие здания легендарных времен, украшавшие теперь пустыню, становившиеся к путнику в полоборота, как становится всё, что прекрасно: оно не видит вас, оно задумчиво и рассеянно, оно отсутствует. Я говорил сам с собой, — увещевая судьбу, Катю, звезды, колонны безмолвного, огромного отсутствующего собора, — и когда в темноте начиналась перестрелка, я мельком, но не без приятности, думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду умирать, туманно сидя на снегу, в своем нарядном меховом пальто, в котелке набекрень, среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов. А не то, всхлипывая и мыча на ходу, я старался себя убедить, что сам разлюбил Катю, припоминал, спешно собирая всё это, ее лживость, самонадеянность, пустоту, мушку, маскирующую прыщик, и особенно картавый выговор, появлявшийся, когда она без нужды

переходила на французский, и неуязвимую слабость к титулованным стихам, и злобное, тупое выражение ее глаз, смотревших на меня исподлобья, когда я в сотый раз допрашивал ее, — с кем она провела вчерашний вечер... И как только всё это было собрано и взвешено, я с тоской замечал, что моя любовь, нагруженная этим хламом, еще глубже осела и завязла, — и что никаким битюгам с железными жилами ее из трясины не вытянуть. И на другой вечер — пробиваясь сквозь матросский контроль на углах, требовавший документов, которые всё равно давали мне пропуск только до порога катиной души, а дальше были бессильны, — я снова приходил глядеть на Катю, которая при первом же моем жалком слове превращалась в большую, твердую куклу, опускавшую выпуклые веки и отвечавшую на фарфоровом языке. И когда, наконец, в памятную ночь я потребовал от нее последнего, сверхправдивого ответа, Катя просто ничего не сказала, — осталась неподвижно лежать на кушетке, зеркальными глазами отражая огонь свечи, заменявшей в ту ночь электричество, — и я, дослушав тишину до конца, встал и вышел. Спустя три дня, я послал ей со слугой записку, — писал, что покончу с собой, если хоть еще один раз ее не увижу, и вот, помню, как восхитительным утром с розовым солнцем и скрипучим снегом, мы встретились на Почтамтской, — я молча поцеловал ей руку, и с четверть часа, не прерывая ни единым словом молчание, мы гуляли взад и вперед, а на углу бульвара стоял и курил, с

притворной непринужденностью, весьма корректный на вид господин в каракулевой шапке. Мы с ней молча ходили взад и вперед, и прошел мальчик, таща санки с рваной бахромкой, и загремевшая вдруг водосточная труба извергла осколок льдины, и господин на углу курил, — и затем, на той же как раз точке, где мы встретились, я так же молча поцеловал ей руку, навсегда скользнувшую обратно в муфту, и ушел — уже по-настоящему. Когда, слезами обливаясь, ее лобзая вновь и вновь, шептал я, с милой расставаясь, прощай, прощай, моя любовь. Прощай, прощай, моя отрада, моя тоска, моя мечта, мы по тропам заглохшим сада уж не пройдемся никогда... Да-да, прощай... Ты всё-таки была прекрасна, непроницаемо прекрасна и до слез обаятельна, — несмотря на близорукость души и праздность готовых суждений, и тысячу мелких предательств, — а я, должно быть, со своей заносчивой поэзией, тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся, гугнивой речью, был, несмотря на всю мою любовь к тебе, жалок и противен. И нет нужды мне рассказывать тебе, как я потом терзался, как вглядывался в фотографию, где ты, с бликом на губе и светом в волосах, смотришь мимо меня. Катя, отчего ты теперь так напакостила?

Давай, поговорим спокойно и откровенно. С печальным писком выпущен воздух из резинового толстяка и грубияна, который, туго надутый, паясничал в начале этого письма, — да и ты вовсе не дородная романистка в гамаке, а всё та же Катя — с рассчитан-

ной порывистостью движений и узкими плечами, — миловидная, скромно подкрашенная дама, написавшая из глупого кокетства совершенно бездарный роман. Смотри — ты даже прощания нашего не пощадила! Письмо Леонида, в котором он грозит Ольгу застрелить, и которое она обсуждает со своим будущим мужем; этот будущий муж в роли соглядатая, стоящий на углу, готовый ринуться на помощь, если Леонид выхватит револьвер, который он сжимает в кармане пальто, горячо убеждая Ольгу не уходить и прерывая рыданиями ее разумные речи, — какое это всё отвратительное, бессмысленное вранье! А в конце книги ты заставляешь меня попасться красным во время разведки и с именами двух изменниц на устах — Россия, Ольга, — доблестно погибнуть от пули чернокудрого комиссара. Крепко же я любил тебя, если я всё еще вижу тебя такой, какой ты была шестнадцать лет тому назад, и с мучительными усилиями стараюсь выволить наше прошлое из унижительного плена, спасти твой образ от пытки и позора твоего же пера! Но не знаю, право, удастся ли мне это. Мое письмо странно смахивает на те послания в стихах, которые ты так и жарила наизусть, — помнишь? «Увидев почерк мой, Вы верно удивитесь...» Однако я удержусь, не кончу призывом «здесь море ждет тебя, широкое, как страсть, и страсть, широкая, как море...» — потому что во-первых, здесь никакого моря нет, а во-вторых я вовсе не стремлюсь тебя видеть. Ибо после твоей книги я, Катя, тебя боюсь. Ей-Богу, не стоило так радоваться и

мучиться, как мы с тобой радовались и мучились, чтобы свое оплеванное прошлое найти в дамском романе. Послушайся меня, — не пиши ты больше! Пускай это будет хотя бы уроком. «Хотя бы» — ибо я имею право желать, чтобы ты замерла от ужаса, поняв содеянное. И еще, — знаешь, что мечтается мне? Может быть, может быть (это очень маленькое и хилое «может быть», но, цепляясь за него, не подписываю письма), может быть, Катя, всё-таки, несмотря ни на что, произошло редкое совпадение, и не ты писала эту гиль, и сомнительный, но прелестный образ твой не изуродован. Если так, то прошу Вас извинить меня, коллега Солнцев.

Берлин, 1933 г.

Облако, озеро, башня

Один из моих представителей, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку. Хотя берлинское лето находилось в полном разливе (вторую неделю было сыро, холодно, обидно за всё зеленевшее зря, и только воробьи не унывали), ехать ему никуда не хотелось, но когда в конторе общества увеспоездок он попробовал билет свой продать, ему ответили, что для этого необходимо особое разрешение от министерства путей сообщения; когда же он и туда сунулся, то оказалось, что сначала нужно составить сложное прошение у нотариуса на гербовой бумаге, да кроме того раздобыть в полиции так называемое «свидетельство о невыезде из города на летнее время», причем выяснилось, что издержки составят треть стоимости билета, т. е. как раз ту сумму, которую, по истечении нескольких месяцев, он мог надеяться получить.

Тогда, повздыхав, он решил ехать. Взял у знакомых алюминиевую фляжку, подновил подошвы, купил пояс и фланелевую рубашку вольного фасона, — одну из тех, которые с таким нетерпением ждут стирки, чтобы сесть. Она, впрочем, была велика этому милому, коротковатому человеку, всегда аккуратно подстриженному, с умными и добрыми глазами. Я сейчас не могу вспомнить его имя и отчество. Кажется, Василий Иванович.

Он плохо спал накануне отбытия. Почему? Не только потому, что утром надо вставать непривычно рано и таким образом брать с собой в сон личико часов, тикающих рядом на столике, а потому что в ту ночь ни с того, ни с сего ему начало мниться, что эта поездка навязанная ему случайной судьбой в открытом платье, поездка, на которую он решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). И кроме того он думал о том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то.

Утро поднялось пасмурное, но теплое, парное, с внутренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трамвае на далекий вокзал, где был сборный пункт: в экскурсии, увы, участвовало несколько персон. Кто

они будут, эти сонные — как всё еще нам незнакомые — спутники? У кассы номер шесть, в семь утра, как было указано в примечании к билету, он и увидел их (его уже ждали: минуты на три он всё-таки опоздал). Сразу выделился долговязый блондин в тирольском костюме, загорелый до цвета петушиного гребня, с огромными, золотисто-оранжевыми, волосатыми коленями и лакированным носом. Это был снаряженный обществом вожак и как только новоприбывший присоединился к группе (состоявшей из четырех женщин и стольких же мужчин), он ее повел к запрятанному за поездами поезду, с устрашающей легкостью неся на спине свой чудовищный рюкзак и крепко цокая подкованными башмаками. Разместились в пустом вагончике сугубо-третьего класса, и Василий Иванович, сев в сторонке и положив в рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался перечесть («Мы слизь. Реченная есть ложь», — и дивное о ружьяном восклицании); но его попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе. Пожилой почтовый чиновник в очках, со щетинисто сизыми черепом, подбородком и верхней губой, словно он сбрил ради этой поездки какую-то необыкновенно обильную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России и знает немножко по-русски, например, «пацлуй», да так подмигнул, вспоминая проказы в Царицыне, что его толстая жена набросала в воздухе начало оплеухи наотмашь. Вообще становилось шумно. Перекидывались пудовыми шутками четверо, связан-

ные тем, что служили в одной и той же строительной фирме, — мужчина постарше, Шульц, мужчина помоложе, Шульц тоже, и две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая, несколько фарсового типа вдова в спортивной юбке тоже кое-что знала о России (Рижское взморье). Еще был темный, с глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам, с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным, в облике и манерах, всё время переводивший разговор на те или другие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак к восхищению: это был, как узналось впоследствии, специальный подогреватель от общества увеспоездок.

Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосновым лесом, затем — облегченно — полями, и понимая еще только смутно всю чушь и ужас своего положения, и, пожалуй, пытаясь уговорить себя, что всё очень мило, Василий Иванович ухитрялся наслаждаться мимолетными дарами дороги. И действительно: как это всё увлекательно, какую прелесть приобретает мир, когда заведен и движется каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лавку. Безумно быстро неслась плохо выглаженная тень вагона по травяному скату, где цветы сливались в цветные строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно, поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание люб-

ви, переодетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых. Нас с ним всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невозможность никогда узнать, куда ведет вон та тропинка, — а ведь какая соблазнительная глушь! Бывало, на дальнем склоне или в лесном просвете появится и как бы замрет на мгновение, как задержанный в груди воздух, место до того очаровательное, — полянка, терраса, — такое полное выражение нежной, благожелательной красоты, — что, кажется, вот бы остановить поезд и — туда, навсегда, к тебе, моя любовь... но уже бешено заскакали, вертясь в солнечном кипятке, тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье. А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов — пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, — и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штук в таком то их взаимном расположении, этого узора, который однако сейчас он видит до бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожидающих поезда, он изо всех сил старался высмотреть хоть одну замечательную судьбу — в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры, — и досматривался до того, что вся эта компания деревенских школьников являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном теперь с белым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство героя.

Но глядеть в окно можно было только урывками.

Всем были розданы нотные листки со стихами от общества:

Распростись с пустой тревогой,
палку толстую возьми
и шагай большой дорогой
вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
вместе с добрыми людьми,
без тревоги нелюдимой,
без сомнений, чорт возьми.

Километр за километром,
ми-ре-до и до-ре-ми,
вместе с солнцем, вместе с ветром,
вместе с добрыми людьми.

Это надо было петь хором. Василий Иванович, который не то, что петь, а даже плохо мог произносить немецкие слова, воспользовался неразборчивым ревом слившихся голосов, чтобы только приоткрывать рот и слегка покачиваться, будто в самом деле пел, — но предводитель по знаку вкрадчивого Шрама вдруг резко приостановил общее пение и, подозрительно шурясь в сторону Василия Ивановича, потребовал, чтоб он пропел соло. Василий Иванович прочистил горло, застенчиво начал и после минуты одиночного мучения подхватили все, но он уже не смел выпасть.

У него было с собой: любимый огурец из русской лавки, булка и три яйца. Когда наступил вечер, и низкое алое солнце целиком вошло в замызганный, закачанный, собственным грохотом оглушенный вагон, было всем предложено выдать свою провизию, дабы разделить ее поровну, — это тем более было легко, что у всех кроме Василия Ивановича было одно и то же. Огурец всех рассмешил, был признан несъедобным и выброшен в окошко. В виду недостаточности пая, Василий Иванович получил меньшую порцию колбасы.

Его заставляли играть в скат, тормозили, спрашивали, проверяли, может ли он показать на карте маршрут предпринятого путешествия, — словом, все занимались им, сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере приближения ночи. Обоих девиц звали Гретами, рыжая вдова была чем-то похожа на самого петуха-предводителя; Шрам, Шульц и другой Шульц, почтовый чиновник и его жена, все они сливались постепенно, срастаясь, образуя одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться. Оно налезало на него со всех сторон. Но вдруг на какой-то станции все повылезли, и это было уже в темноте, хотя на западе еще стояло длиннейшее, розовейшее облако, и пронзая душу, подалее на пути, горел дрожащей звездой фонарь сквозь медленный дым паровоза, и во мраке цыкали сверчки, и откуда-то пахло жасмином и сеном, моя любовь.

Ночевали в кривой харчевне. Матерой клоп ужа-сен, но есть известная грация в движении шелковистой лепизмы. Почтового чиновника отделили от жены, помещенной с рыжей, и подарили на ночь Василию Ивановичу. Кровати занимали всю комнату. Сверху перина, снизу горшок. Чиновник сказал, что спать ему что-то не хочется, и стал рассказывать о своих русских впечатлениях, несколько подробнее, чем в поезде. Это было упрямое и обстоятельное чудовище в арестантских подштанниках, с перламутровыми когтями на грязных ногах и медвежьим мехом между толстыми грудями. Ночная бабочка металась по потолку, чокаясь со своей тенью. — В Царицыне, — говорил чиновник, — теперь имеются три школы: немецкая, чешская и китайская. Так, по крайней мере, уверяет мой зять, ездивший туда строить тракторы.

На другой день с раннего утра и до пяти пополудни пылили по шоссе, лениво переходившему с холма на холм, а затем пошли зеленой дорогой через густой бор. Василию Ивановичу, как наименее нагруженному, дали нести подмышкой огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! И всё-таки его драгоценные, опытные глаза примечали что нужно. На фоне еловой черноты вертикально висит сухая иголка на невидимой паутинке.

Опять ввалились в поезд, и опять было пусто в маленьком, без перегородок, вагоне. Другой Шульц стал учить Василия Ивановича играть на мандолине. Было много смеху. Когда это надоело, затеяли слав-

ную забаву, которой руководил Шрам; она состояла вот в чем; женщины ложились на выбранные лавки, а под лавками уже спрятаны были мужчины, и вот, когда из-под той или другой вылезала красная голова с ушами или большая, с подъябочным направлением пальцев, рука (вызывавшая визг), то и выяснялось, кто с кем попал в пару. Трижды Василий Иванович ложился в мерзкую тьму, и трижды никого не оказывалось на скамейке, когда он из-под нее выползал. Его признали проигравшим и заставили съесть окуроч.

Ночь провели на соломенных тюфяках в каком-то сарае и спозаранку отправились снова пешком. Елки, обрывы, пенистые речки. От жары, от песен, которые надо было беспрестанно горланить, Василий Иванович так изнемог, что на полднем привале немедленно уснул и только тогда проснулся, когда на нем стали шлепать мнимых оводов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.

Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, — любовь моя! послуш-

ная моя! — был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел тут ли оно, чтоб его отдать.

Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком предводителя, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов, расположившихся кругом на траве в любительских позах, а предводитель сидел на пне, задом к озеру, и закусывал. Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошел берегом и вышел к постоялому двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком и нашел хозяина, рослого старика, смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь, но тот понимал как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приезжих. — Знаете, я сниму ее на всю жизнь, — будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, — напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, — но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отда-

ваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще неиспытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но всё кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться более, как выписать сюда свое небольшое имущество — книги, синий костюм, ее фотографию. Всё выходило так просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую русскую жизнь.

— Друзья мои, — крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. — Друзья мои, прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!

— То есть как это? — странным голосом проговорил предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение которой медленно линяла улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него.

— А что? — пролепетал он. — Я здесь решил...

— Молчать! — вдруг со страшной силой заорал почтовый чиновник. — Опомнись, пьяная свинья!

— Постойте, господа, — сказал предводитель, —

одну минуточку, — и, облизнувшись, он обратился к Василию Ивановичу:

— Вы должно быть, действительно, подвыпили, — сказал он спокойно. — Или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту — посмотрите у себя на билете — мы все возвращаемся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо из нас — в данном случае вы — отказался продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, — вспомните, что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети, мы идем дальше.

— Нас ждет пиво в Эвальде, — ласково сказал Шрам. — Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий павильон. Угольные копи. Масса интересного.

— Я буду жаловаться, — завопил Василий Иванович. — Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, — будто добавил он, когда его подхватили под руки.

— Если нужно, мы вас понесем, — сказал предводитель, — но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым.

Увлекаемый, как в дикой сказке по лесной дороге, зажатый, скрученный, Василий Иванович не мог даже обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и

кругом чернеет бездейственно ропшущая чаша. Как только сели в вагон, и поезд двинулся, его начали избивать, — били долго и довольно изощренно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать, как чорт, ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да пощечинами. Было превесело.

По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказать от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется.

Мариенбад, 1937 г.

Уста к устам

Еще рыдали скрипки, исполняя как будто гимн страсти и любви, но уже Ирина и взволнованный Долинин быстро направлялись к выходу из театра. Их манила весенняя ночь, манила тайна, которая напряженно встала между ними. Сердца их дрожали в унисон.

— Дайте мне ваш номер от гардеробной вешалки, — промолвил Долинин (вычеркнуто).

— Позвольте, я достану вашу шляпку и манто (вычеркнуто).

— Позвольте, — промолвил Долинин, — я достану ваши вещи (между «ваши» и «вещи» вставлено «и свои»). Долинин подошел к гардеробу и, предъявив номерок (переделано: «оба номерка»)...

Тут Илья Борисович задумался. Неловко, неловко замешкать у гардероба. Только что был вдохновенный порыв, вспышка любви между одиноким, пожилым Долининым и случайной соседкой по ложе, девушкой

в черном; они решили бежать из театра, подальше от мундиров и декольте. Впереди мерещился автору Купеческий или Царский сад, акации, обрывы, звездная ночь. Автору не терпелось дорваться вместе с героями до этой звездной ночи. Однако надо было получить вещи, а это нарушало эффект. Илья Борисович перечел написанное, надул щеки, уставился на хрустальный шар преспапье и, подумав, решил пожертвовать эффектом ради правдоподобия. Это оказалось нелегко. Талант у него был чисто лирический, природа и переживания давались удивительно просто, но зато он плохо справлялся с житейскими подробностями, как например открывание и закрывание дверей или рукопожатия, когда в комнате много действующих лиц, и один или двое здороваются со многими. При этом Илья Борисович постоянно воевал с местоимениями, например с «она», которое норовило заменить не только героиню, но и сумочку или там кушетку, а потому, чтобы не повторять имени собственного, приходилось говорить «молодая девушка» или «его собеседница», хотя никакой беседы и не происходило. Писание было для Ильи Борисовича неравной борьбой с предметами первой необходимости; предметы роскоши казались гораздо покладистее, но, впрочем, и они подчас артачились, застревали, мешали свободе движений, — и теперь, тяжело покончив с возней у гардероба и готовясь героя наделить тростью, Илья Борисович чисто-сердечно радовался блеску ее массивного набалдашника и, увы, не предчувствовал, какой к нему иск

предъявит эта дорогая трость, как мучительно потребует она упоминания, когда Долинин, ощущая в руках гибкое молодое тело, будет переносить Ирину через весенний ручей.

Долинин был просто «пожилой»; Илье Борисовичу шел пятьдесят пятый год. Долинин был «колоссально богат» — без точного объяснения источников дохода; Илья Борисович, директор фирмы, занимавшейся устройством ваннх помещений и, кстати сказать, получившей в тот год заказ облицевать изразцами пещерные стены нескольких станций подземной дороги, был вполне состоятелен. Долинин жил в России, вероятно на юге России, и познакомился с Ириной задолго до последней войны. Илья Борисович жил в Берлине, куда эмигрировал с женой и сыном в 1920 году. Его литературный стаж был давлен, но невелик: некролог в «Южном вестнике» о местном либеральном купце (1910 год), два стихотворения в прозе (август 1914 года и март 1917 года) там же, и книжка, содержащая этот же некролог и эти же два стихотворения в прозе, — хорошенькая книжка, появившаяся в разгар гражданской войны. Наконец, уже в Берлине, Илья Борисович написал небольшой этюд «Плавающие и путешествующие» и напечатал его в русской газете, скромно выходившей в Чикаго; но вскоре эта газета как-то испарилась, другие же органы печати рукописей не возвращали и ни в какие не вступали переговоры. Затем было два года литературного затишья: болезнь и смерть жены, инфляция, тысяча дел. Сын кончил в

Берлине гимназию, поступил во Фрейбургский университет. И вот, в 1925 году, вместе с началом старости, благополучный и в общем очень одинокий Илья Борисович почувствовал такой писательский зуд, такую жажду — о нет, не славы, а просто теплоты и внимания со стороны читающей публики, — что решил дать себе полную волю, написать роман и издать его на собственный счет.

Уже к тому времени, когда герой, тоскующий, много испытывавший Долинин, слышал зов новой жизни и, едва не застряв навеки у гардероба, ушел с молодой девушкой в весеннюю ночь, найдено было название романа: а именно: «Уста к устам». Долинин поселил Ирину у себя, но ничего между ними еще не было, — он хотел, чтоб она сама к нему пришла и воскликнула:

— Возьми меня, мою чистоту, мое страдание... Я твоя. Твое одиночество — мое одиночество, и как бы долго или кратко ты ни любил меня, я готова на всё, ибо вокруг нас весна зовет к человечности и добру, ибо твердь и небеса блещут божественной красотой, ибо я тебя люблю...

— Сильное место, — сказал Евфратский. — Очень сильное.

— Что — не скучно? — спросил Илья Борисович, взглянув поверх роговых очков. — А? Вы прямо скажите...

— Она, вероятно, ему отдастся, — предположил Евфратский.

— Мимо, читатель, мимо, — ответил Илья Борисович (в смысле «пальцем в небо»), улыбнулся не без лукавства, слегка встряхнул рукописью, поудобнее скрестил полные ляжки и продолжал чтение.

Он читал Евфратскому роман небольшими порциями по мере производства. Евфратский, как-то раз нагрянувший к нему по случаю концерта, на который продавал билеты, был журналист с именем — вернее, с дюжиной псевдонимов; до тех пор Илья Борисович водил знакомство только в немецкой индустриальной среде, но уже теперь, посещая собрания, доклады, мелкие спектакли, знал в лицо кое-кого из так называемой пишущей братии, с Евфратским же очень подружился и ценил мнение его, как стилиста, хотя стиль у Евфратского был известно какой: злободневный. Илья Борисович часто звал его к себе, они пили коньяк и говорили о литературе — точнее, говорил хозяин, а гость жадно копил впечатления, чтобы потом ими развлекать приятелей. Правда, в литературе у Ильи Борисовича был вкус несколько тяжеловатый. Пушкина он, конечно, признавал, но знал его более по операм, вообще находил его «олимпийски спокойным и неспособным волновать». Из всей поэзии он наизусть помнил только «Море» Вейнберга и одно стихотворение Скитальца, где рифмуется «повешен» и «замешан». Любил ли Илья Борисович подтрунить над декадентами? Да, любил, но ведь, с другой стороны, он сам честно оговаривался, что в стихах мало смылит. Зато о русской прозе он рассуждал охотно, с жаром — ува-

жал Лугового, ценил Короленко, находил, что Арцыбашев развращает молодежь... О беллетристике поновее он говорил, разводя руками: «Скучно пишут!», чем повергал Евфратского в какой-то тихий экстаз.

— Писатель должен быть с душой, — твердил Илья Борисович, — участлив, отзывчив, справедлив. Я может быть пустяк, ничтожество, но у меня есть свое кредо. Пускай хоть одно мое писательское слово западет кому-нибудь в душу... И Евфратский мутными глазами смотрел на него, предвкушая с мучительной нежностью завтрашний мимический пересказ, утробный гогот того, чревоушательный писк этого...

И вот настал день, когда черновик романа был окончен. На предложение Евфратского пойти посидеть в кафе Илья Борисович ответил с таинственной вескостью:

— Не могу. Я полирую слог.

Полировка состояла в том, что, ополчившись на слово «молодая», попадавшееся слишком часто, он заменил его там и сям словом «юная», которое производил как будто в нем два «эн»: «юнная».

Через день, вечером, в кафе. Красный диванчик. Двое. По виду скажешь: дельцы. Один — солидный, осанистый, некурящий, с выражением доброты и доверия на полном лице; другой — тощий, густобровый, с двумя брезгливыми складками, идущими от рысьих ноздрей к опущенным углам рта, из которого косо торчит еще незажженная папироса. Тихий голос первого:

— Конец я написал одним порывом. Он умирает, да, умирает...

Молчание. Красный дванчик мягок. За окном проплывает, как рыба в аквариуме, насквозь освещенный трамвай.

Евфратский щелкнул зажигалкой, выпустил дым из ноздрей и сказал:

— А почему бы вам, Илья Борисович, до выхода романа отдельным изданием, не пропустить его через журнал?

— Я же не имею протекций.. Кто возьмет? Печатают всё одних и тех же.

— Пустяки. У меня есть идейка, но ее еще надо хорошенько обмозговать.

— Я бы с радостью... — мечтательно произнес Илья Борисович.

Еще через несколько дней, в кабинете у Ильи Борисовича, изложение идейки:

— Пошлите вашу вещь, — Евфратский прищурился и вполголоса dokonчил: — «Ариону».

— «Ариону»? — переспросил Илья Борисович, нервно погладив рукопись.

— Ничего страшного. Название журнала. Неужели не знаете? Ай-я-яй! Первая книжка вышла весной, осенью выйдет вторая. Нужно немножко следить за литературой, Илья Борисович.

— Как же так — просто послать?

— Ну да, в Париж, редактору. Уж имя-то Галатова вы, небось, знаете?

Илья Борисович виновато пожал толстым плечом. Евфратский, морщась, объяснил: беллетрист, новые формы, мастерство, сложная конструкция, русский Джойс...

— Джойс, — смиренно повторил Илья Борисович.

— Сперва дайте перестукать, — сказал Евфратский. — И пожалуйста ознакомьтесь с журналом.

Он ознакомился. В магазине ему дали пухлую розовую книгу, он ее купил, вслух заметив:

— Молодое начинание. Нужно, знаете, поощрять.

— Прекратилось молодое начинание, — сказал хозяин магазина. — Один номер всего и вышел.

— Вы не в курсе, — с улыбкой возразил Илья Борисович. — Я знаю достоверно, что следующий выйдет осенью.

Вернувшись домой, он бережно разрезал книжку. В ней он нашел малопонятную вещь Галатова, два-три рассказа смутно-знакомых авторов, какие-то туманные стихи и весьма дельную статью о немецкой индустрии, подписанную «Тигрин». «Никогда не возьмут, — с тоской подумал Илья Борисович. — Тут своя компания».

Всё же он вызвал по объявлению в газете некую госпожу Любанскую (стенография и машинка) и стал с чувством ей диктовать, волнуясь, повышая голос, и всё смотрел, какое впечатление производит на нее роман. Она порхала карандашом по блокноту — маленькая, черненькая, с экземой на лбу, а Илья Борисович ходил кругами по кабинету, суживая круги, когда

приближалось эффектное место. К концу первой главы в комнате стоял крик.

— И вся прежняя жизнь показалась ему страшной ошибкой, — возопил Илья Борисович — и уже обыкновенным конторским голосом сказал: — Всё это к завтрашнему дню перепишите, четыре копии, оставьте поля пошире, завтра приходите, как сегодня.

Ночью он придумывал, что напишет Галатову, когда будет посылать роман: «...на строгий суд... сотрудничал там-то и там-то...» А на утро (такова прелестная предупредительность судьбы) Илья Борисович получил письмо: «Глубокоуважаемый Борис Григорьевич! Я узнал от нашего общего знакомого о новом вашем произведении. Редакции «Ариона» было бы интересно прочитать его, так как хотелось бы поместить в очередной книжке что-нибудь «свежее». P. S. Как странно: я недавно вспоминал Ваши изящные миниатюры в «Южном вестнике»...

«Просит. Помнит...» — растерянно произнес Илья Борисович. Затем он позвонил Евфратскому и, как-то боком отвалившись в кресле, облокотясь о стол рукой, в которой держал трубку, а другой делая широкий жест, и весь сияя, затянул:

— Ну-у, голубчик, ну-у, голубчик, — и вдруг увидел, что блестящие предметы на столе дрожат, двоятся, плывут мокрым миражем. Он перемигнул, и всё стало по своим местам, и усталый голос Евфратского томно отвечал:

— Что вы... между коллегами... обыкновенная услуга...

Поднимались всё выше пять ровных пачек. Долинин, еще ни разу не обладавший Ириной, случайно узнал, что она увлечена другим, молодым художником... Иногда Илья Борисович диктовал в конторском кабинете, и тогда немки-машинистки, слыша отдаленный крик, дивились, кого это так распекает добродушный их шеф. Долинин с ней поговорил по душам, она ему сказала, что никогда не покинет его, потому что слишком ценит его прекрасную одинокую душу, но, увы, телом принадлежит другому, и Долинин молча поклонился. Наконец, настал день, когда он сделал завещание в ее пользу, настал день, когда он застрелился (из Маузера), настал день, когда Илья Борисович, блаженно улыбаясь, спросил Любанскую, принесшую последнюю порцию переписанных страниц, сколько он ей должен, и попытался ей переплатить.

Он с увлечением перечел «Уста к устам», и одну копию передал Евфратскому для исправления (кое-какие изменения, там, где в скорописи были пробелы, внесла уже переписчица). Евфратский ограничился тем, что в одной из первых строк вставил красным карандашом темпераментную запятую. Илья Борисович аккуратно перевел эту запятую на экземпляр, предназначенный «Ариону», подписал роман псевдонимом, выведенным из имени покойной жены, закрепил страницы зажимчиками, приложил длинное пись-

мо, всё это всунул в большой удобный конверт, взвесил, сам пошел на почтамт и отправил роман заказным.

Квитанцию он положил в бумажник и приготовился к неделям трепетного ожидания. Однако ответ Галатова пришел с чудесной скоростью, — на пятый день: «Глубокоуважаемый Илья Григорьевич! Редакция в полном восторге от Вами присланного материала. Редко доводилось нам читать страницы, на которых был бы так явственен отпечаток «человеческой души». Ваш роман волнует своим лица не общим выражением. В нем есть «горечь и нежность». Некоторые описания, как, например, в самом начале описание театра, соперничают с аналогичными образами в произведениях наших классиков и, в известном смысле, одерживают верх. Я говорю это с полным сознанием «ответственности» такого суждения. Ваш роман был бы истинным украшением «Ариона».

Как только Илья Борисович немного успокоился, он вместо того, чтобы ехать в контору, пошел в Тиргартен, сел на скамейку и стал думать о жене, как она поразовалась бы вместе с ним. Погодя он отправился к Евфратскому. Евфратский лежал в постели и курил. Они вместе исследовали каждую фразу письма. Когда дошли до последней, Илья Борисович кротко поднял глаза и спросил:

— Почему, скажите, стоит «был бы», а не «будет», ведь я же им даю с радостью, — или это просто для изящества оборота?

— Нет, тут, к сожалению, другое, — ответил Ев-

фратский. — Вероятно они из гордости скрывают. Но дело в том, что журналу крышка — да, это на днях выяснилось... Публика, знаете, читает всякое дерьмо, а «Арион» рассчитан на требовательного читателя. Вот и получается...

— Я уже это слышал, — с тревогой сказал Илья Борисович, — но я думал, это клевета конкурентов или невежество. Неужели второго номера не будет? Это же ужасно.

— Денег нет. Журнал бессеребрый, идеалистический, — такие, увы, погибают.

— Но как же, как же! — крикнул Илья Борисович, всплеснув руками. — Ведь они одобрили мою вещь, ведь они хотели бы ее напечатать!..

— Да, не повезло, — равнодушным голосом произнес Евфратский. — А скажите, Илья Борисович., и он заговорил о другом.

Ночью Илья Борисович плотно подумал, кое-что сам с собой обсудил и, позвонив утром Евфратскому, поставил ему некоторые вопросы финансового свойства. Евфратский отвечал вяло, но чрезвычайно точно. Илья Борисович подумал еще, и на следующий день сделал Евфратскому предложение для передачи «Ариону». Предложение было принято, и Илья Борисович перевел в Париж некоторую сумму. В ответ на это он получил письмо с выражением нашей живейшей благодарности и с сообщением, что вторая книга выйдет через месяц. Постскриптом заключал вежливую просьбу: «Позвольте нам подписать роман не И. Анненский,

как Вы предлагаете, а Илья Анненский». «Вы совершенно правы, — ответил Илья Борисович. — Я просто не знал, что уже есть литератор, пишущий под этим именем. Радуюсь, что мой роман увидит у Вас свет. Будьте добреньки, как только выйдет журнал, вышлите мне пять экземпляров.» (Он имел в виду старуху-родственницу и двух-трех деловых знакомых. Сын по-русски не читал.)

Тут начался период в жизни Ильи Борисовича, который острословы обозначили коротким термином «кстати». То в книжной лавке, то на каком-нибудь собрании, то просто на улице, подходил к вам с приветом («А! Как живете?») малознакомый, приятный и солидный на вид господин в роговых очках, заводил с вами разговор о том и о сем, заметно переходил от того и сего к литературе и вдруг говорил: «Кстати...»; при этом его рука судорожно ныряла за пазуху и мгновенно извлекала письмо. «Вот, кстати, что мне пишет Галатов — знаете? Галатов, русский Джойс.» Вы берете письмо и читаете: «...редакция в полном восторге... наших классиков... украшением...» «Спутал мое отчество, — говорит Илья Борисович с добродушным смешком. — Знаете — писатель... Рассеянный... А журнал выйдет в сентябре, прочтете мою вещичку.» И спрятав письмо, он прощается с вами и озабоченно спешит дальше.

Литературные неудачники, мелкие журналисты, корреспонденты каких-то бывших газет измывались

над ним с диким сладострастием. С таким гиком великовозрастное хулиганье мучит кошку, с таким огоньком в глазах немолодой, несчастливый в наслаждениях мужчина рассказывает гнусный анекдот. Глумились, разумеется, за его спиной, но громко, развязно, совершенно не опасаясь превосходной акустики в местах сплетен. Вероятно до тетеревиного слуха Ильи Борисовича не доходило ничего. Он расцвел, он ходил новой, беллетристической походкой, он стал писать сыну по-русски с подстрочным немецким переводом большинства слов. В конторе уже знали, что Илья Борисович не только превосходный человек, но еще ein Schriftsteller, и некоторые из знакомых коммерсантов поверяли ему любовные свои тайны: «Вот вы опишите...» К нему, почуяв некий теплый ветерок, стала шляться изо дня в день — кто с черного хода, кто с парадного — разноцветная нищета. С ним был почтителен не один известный в эмиграции человек. Да что говорить — Илья Борисович оказался и впрямь окруженным уважением и славой, Не было такого званого вечера в интеллигентном доме, где бы не упоминалось его имени, — а как, с какой искрой, не всё ли равно? Важно не как, а что, — говорит истинная мудрость.

В конце месяца Илье Борисовичу пришлось по делу уехать, и он пропустил появившееся в русских газетах объявление о скором выходе «Ариона». Вернулся он в Берлин усталый, озабоченный, поглощенный деловыми мыслями. На столе в прихожей лежал большой, кубообразный пакет. Он, не снимая пальто,

мгновенно пакет вскрыл. Розовое, холодное, пухлое. И пурпурными буквами: «Арион». Пять экземпляров.

Илья Борисович хотел распахнуть один из них, книга сладко хрустнула, но не разжмурилась — еще слепая, новорожденная. Он попробовал опять, — мелькнули какие-то чужие, чужие стишки. Он перебрал тяжесть сложенных листов справа налево и попал на страницу с оглавлением. Он проехался взглядом по именам и названиям, но не нашел, не нашел... Книга попыталась закрыться, он попридержал ее, дошел до конца перечня — нету! Что же это такое, Господи, что же это... Не может быть... Просто выпало из оглавления, — это бывает, это бывает... Он уже оказался в кабинете и вот всадил белый нож в толстое слоистое тело книги. На первом месте — Галатов, потом — стихи, потом два рассказа, опять стихи, опять проза, — а уже дальше какие-то обзоры, какие-то статейки. Илья Борисович почувствовал вдруг утомление, равнодушие ко всему. Ну, что ж... Может быть, слишком много было матерьяла. Напечатают в следующем номере. Это уже наверняка. Но опять ждать, ждать... Ну, что ж... Он машинально выпускал из-под большого пальца нежные страницы. Хорошая бумага. Что ж, я всё-таки помог... Нельзя требовать, чтоб меня вместо Галатова или... И тут... выпрыгнуло и закружилось, и пошло, пошло, подбоченясь, родное, милое: «...юная, едва оформившаяся грудь... еще рыдали скрипки... гардероб... весенняя ночь их встретила лас...» и на обороте страницы неизбежное, как продолжение

рельсов после туннеля, «...ковым и страстным дуновением...» — Как же я сразу не догадался! — воскликнул Илья Борисович.

Озаглавлено было «Пролог к роману». Подписано было «А. Ильин»; и в скобках: «Продолжение следует». Маленький кусок, три с половиной странички, но какой кусок.... Увертюра. Изящно. Ильин лучше Анненского, иначе всё-таки могли бы спутать. Но почему «Пролог к роману», а не просто «Уста к устам», глава 1? Ах, это совершенно неважно.

Он перечел свои страницы трижды. Затем отложил книгу, прошелся по кабинету, небрежно посвистывая, как будто ровно ничего не случилось, — ну да, лежит книга, — книга как книга — в чем дело? затем он бросился к ней и перечел себя еще восемь раз подряд. Затем он посмотрел в оглавление — А. Ильин, стр. 205 — нашел стр. 205, и, смакуя слова, перечел снова. Он еще долго так играл.

Журнал сменил письмо. Илья Борисович всюду ходил с «Арионом» подмышкой и при всякой встрече раскрывал его на привыкшей к этому странице. В газетах появились рецензии. В первой из них Ильин не был упомянут вовсе. Во второй написали: ««Пролог к роману» г. Ильина — какое-то недоразумение.» В третьей было просто: «Еще помещены такой-то и А. Ильин.» В четвертой, наконец, (милый, скромный журнальчик, выходявший где-то в Польше) сказано было так: «Произведение Ильина подкупает своей искренностью. Автор отображает зарождение любви

на фоне музыки. К несомненным достоинствам следует отнести литературность изложения.» Начался третий период, после периода «кстати» и периода ношения книги: Илья Борисович извлекал из бумажника рецензию.

Он был счастлив. Он выписал еще пять экземпляров. Он был счастлив. Умалчивание объяснялось косностью, придирки — недоброжелательством. Он был счастлив. Продолжение следует. И вот, как-то в воскресенье, позвонил Евфратский:

— Угадайте, — сказал он, — кто хочет с вами говорить? Галатов! Да, он приехал на пару дней.

Зазвучал незнакомый, играющий, напористый, сладко-одуряющий голос. Условились.

— Завтра в пять часов у меня. Жалко, что не сегодня.

— Не могу, — отвечал играющий голос. — Меня тащат на «Черную Пантеру». Я кстати давно не видался с Евгенией Дмитриевной...

Актриса, приехавшая из Риги в русский Берлин на гастроль. Начало в половине девятого. Илья Борисович посреди ужина вдруг посмотрел на часы, хитро улыбнулся и поехал в театр. Театр был плохонький — не театр даже, а зал, предназначенный скорее для лекций, нежели для представлений. Спектакль еще не начинался, в холодном вестибюле потрескивал русский разговор. Илья Борисович сдал старухе в черном трость, котелок, пальто, заплатил, опустил жетон в жилетный карманчик и, медленно потирая руки, огля-

делся. Рядом стояла группа из трех людей: молодой человек, про которого Илья Борисович только и знал, что он пишет о кинематографе, жена молодого человека, угловатая, с лорнетом, и незнакомый господин, в пижонистом пиджаке, бледный, с черной бородкой, красивыми бараньими глазами и золотой цепочкой на волосатой кисти. — Но почему, почему, — живо говорила дама, — почему вы это поместили? Вить...

— Ну что вы к бедняге пристали? — радужным баритоном отвечал господин. — Бездарно, допустим. Но, очевидно, были причины...

Он добавил что-то вполголоса, и дама, звякнув лорнетом, воскликнула:

— Извините, по-моему, если вы печатаете только потому, что он дает деньги... —

— Тише, тише, — сказал господин. — Не разглашайте наших тайн.

Тут Илья Борисович встретился глазами с молодым человеком, мужем угловатой дамы, и тот как бы замер, а потом, вздрогнув, застонал и начал как-то напирать на жену, которая, однако, продолжала:

— Дело не в этом несчастном Ильине, а в принципах.

— Иногда приходится ими жертвовать, — сдержанно отвечал баритон.

Но Илья Борисович уже не слышал и видел сквозь туман и, совершенно потерявшись, совершенно еще не сознавая ужаса происшедшего, а только стремясь инстинктивно поскорее отойти от чего-то стыдного,

гнусного, нестерпимого, подвинулся было к смутному столику, где смутно продавались билеты, но вдруг судорожно повернул вспять, толкнул при этом спешившего к нему Евфратского и, очутившись опять у гардероба, протянул свой жетон. Старуха в черном, — 79, вон там... Он страшно заторопился, он уже размахнулся, чтобы влезть в рукав пальто, но тут подскочил Евфратский и с ним тот, тот...

— Вот и наш редактор, — сказал Евфратский, и Галатов, выкатив глаза и пытаясь не дать Илье Борисовичу опомниться, хватал его за рукав, помогая ему, и быстро говорил:

— Очень рад познакомиться, очень рад познакомиться, позвольте помочь.

— Ах, Боже мой, оставьте, — сказал Илья Борисович, борясь с пальто, с Галатовым, — оставьте меня. Это гадость. Я не могу. Это гадость.

— Явное недоразумение, — молниеносно вставил Галатов.

— Оставьте пожалуйста, — крикнул Илья Борисович и, вырвавшись из его рук, сгреб с прилавка котелок и, всё еще надевая пальто, вышел.

— Что это, что это, ах, что это, — шептал он, шагая по тротуару, но вдруг растопырил руки: забыл трость.

Он машинально пошел дальше, а потом тихонько споткнулся и стал, точно кончился завод.

— Зайду за ней когда они там начнут. Надо подождать...

Мимо проезжали автомобили, звонил трамвай, ночь была ясная, сухая, нарядная. Он медленно двинулся назад, к театру. Он думал о том, что стар, одинок, что у него очень мало радостей, и что старики должны за радости платить. Он думал о том, что может быть еще нынче, а завтра наверное, Галатов будет объяснять, увещевать, оправдываться. Он знал, что надо всё простить, иначе продолжения не будет. И еще он думал о том, что его полностью оценят, когда он умрет, и вспоминал, собирал в кучку крупницы похвал, слышанных им за последнее время, и тихо ходил взад и вперед по тротуару, и погода вернулась за тростью.

Берлин, 1929 г.

U l t i m a T h u l e

Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти? Если, конечно, память может жить без головного убора. Кстатическая мысль: вообразим новейший письменник. К безрукому: крепко жму вашу (многоточие). К покойнику: призрачно ваш. Но оставим эти виноватые виньетки. Если ты не помнишь, то я за тебя помню: память о тебе может сойти, хотя бы грамматически, за твою память и ради крашеного слова вполне могу допустить, что если после твоей смерти я и мир еще существуем, то лишь благодаря тому, что ты мир и меня вспоминаешь. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому поводу. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому случаю. Сейчас обращаюсь к тебе только затем чтобы поговорить с тобой о Фальтере. Вот судьба! Вот тайна! Вот почерк! Когда мне надоедает уверять себя, что он полоумный или квак (как на английский лад ты звала шарлатанов), я вижу в нем человека, ко-

торый... который... потому что его не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем... вышел в боги! — и как же ничтожны перед ним все прозорливцы прошлого: пыль, оставляемая стадом на вечерней заре, сон во сне (когда снится, что проснулся), первые ученики в нашем герметически закрытом учебном заведении: он то вне нас, в яви, — вот раздутое голубиное горло змеи, чарующей меня. Помнишь, мы как то завтракали в ему принадлежавшей гостинице, на роскошной, многоярусной границе Италии, где асфальт без конца умножается на глицинии, и воздух пахнет резиной и раем? Адам Фальтер тогда был еще наш, и если ничто в нем не предвещало — как это сказать? — скажу: прозрения, — зато весь его сильный склад (не хрящи, а подшипники, карамбольная связность телодвижений, точность, орлиный холод) теперь, задним числом, объясняет то, что он выжил: было из чего вычитать.

О, моя милая, как улыбнулось тобой с того лукоморья, — и никогда больше, и кусаю себе руки, чтобы не затрястись, и вот не могу, съезжаю, плачу на тормозах, на *б* и на *у*, и всё это такая унижительная физическая чушь: горячее мигание, чувство удушья, грязный платок, судорожная, вперемежку со слезами, зевота, — ах не могу без тебя... и высморкавшись, переглотнув, вот опять начинаю доказывать стулу, хватая его, столу, стуча по нему, что без тебя не бобу. Слышишь ли меня? Банальная анкета, на которую не откликаются духи, — но как охотно за них отвечают

односмертники наши; я знаю! (пальцем в небо) вот позвольте я вам скажу... Милая твоя голова, ручеек виска, незабудочная серость косящего на поцелуй глаза, тихое выражение ушей, когда поднимала волосы, — как мне примириться с исчезновением, с этой дырой в жизни, куда всё теперь осыпается, скользит, вся моя жизнь, мокрый гравий, предметы, привычки... и какая могильная ограда может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту пропасть. Душекружение. Помнишь, как тотчас после твоей смерти я выбежал из санатория и не шел, а как то притоптывал и даже пританцовывал (прищемив не палец, а жизнь), один на той витой дороге между чрезвычайно чешуйчатых сосен и колючих щитов агав, в зеленом забронированном мире, тихонько подтягивавшем ноги, чтобы от меня не заразиться. О да, всё кругом опасно и внимательно молчало, и только когда я смотрел на что-нибудь, это что-нибудь, спохватившись, принималось деланно двигаться или шелестеть или жужжать, словно не замечая меня. «Равнодушная природа» — какой вздор! Сплошное чуранье, вот это вернее.

Жалко же. Такая была дорогая. И держась снутри за тебя, за пуговку, наш ребенок за тобой последовал. Но, мой бедный господин, не делают женщине брюха, когда у нее горловая чахотка. Невольный перевод с французского на адский. Умерла ты на шестом своем месяце и унесла остальные, как бы не погасив полностью долга. А как мне хотелось, сообщил красноносый вдовец стенам, иметь от нее ребеночка. Etes

vous tout à fait certain, docteur, que la science ne connaît pas de ces cas exceptionnels où l'enfant naît dans la tombe? И сон, который я видел: будто этот чесночный доктор (он же не то Фальтер, не то Александр Васильевич) необыкновенно охотно отвечал, что да, как же, это бывает, и таких (т. е. посмертно рожденных) зовут трупсиками.

Ты то мне еще ни разу с тех пор не приснилась. Цензура, что ли, не пропускает, или сама уклоняешься от этих тюремных со мной свиданий. Первое время я суеверно, унижительно, подлый невежда, боялся тех мелких тресков, которые всегда издает комната по ночам, но которые теперь страшной вспышкой отражались во мне, ускоряя бег кудахтающего низкокрылого сердца. Но еще хуже были ночные ожидания, когда я лежал и старался не думать, что ты вдруг можешь мне ответить стуком, если об этом подумаю, но это значило только усложнять скобки, фигурные после простых (думал о том, что стараюсь не думать), и страх в середине рос да рос. Ах, как был ужасен этот сухонький стук ноготка внутри столешницы, и как не похож, конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни. Вульгарный дух с повадками дятла, или бесплотный шалун, призрак-пошляк, который пользуется моим голым горем. Днем же, напротив, я был смел, я вызывал тебя на любое проявление отзывчивости, пока сидел на камушках пляжа, где когда-то вытягивались твои золотые ноги, — и как тогда волна прибегала, запыхавшись, но, так как ей нечего было

сообщить, рассыпалась в извинениях. Камни, как кушканы яйца, кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазового стекла, что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое, мои слезы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос, с желтобородым матросом в середине спасательного круга, камень, похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель, жестянка из под керосина, осколок стекла гранатового, ореховая скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый иверень, — и где-то ведь непременно должны были быть остальные, дополнительные к нему части, и я воображал вечную муку, каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким, как я, при жизни слишком далеко забегавшим мыслью, а именно: найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот соусник, ту супницу, — горбатые блуждания по дико туманным побережьям, а ведь если страшно повезет то можно в первое же, а не триллионное утро целиком восстановить посудину — и вот он, этот наимучительнейший вопрос *везения*, лотерейного счастья, — того самого билета, без которого может быть не дается благополучия в вечности.

В эти ранние весенние дни узенькая полоса гальки проста и пуста, но по набережной надо мной проходили гуляющие, и кто-нибудь, я думаю, говорил, глядя на мои лопатки: вот художник Синеусов, на днях потерявший жену. И, вероятно, я бы так просидел вечно, ковыряя сухой морской брак, глядя на спотыкавшуюся

ся пену, на фальшивую нежность длинных серийных облачков вдоль горизонта и на темно-лиловые тепловые подточины в студеной синезелени моря, если бы действительно кто-то с панели меня не узнал.

Но (путаясь в рваных шелках слога) возвращаюсь к Фальтеру. Как ты теперь вспомнила, мы однажды отправились туда, ползя в этот жарчайший день как два муравья по ленте цветочной корзины, потому что мне было любопытно взглянуть на бывшего моего репетитора, уроки которого сводились к остроумной полемике с Краевичем, а сам был упругий и опрятный, с большим белым носом и лаковым пробором; по этой прямой дорожке он потом и пошел к коммерческому счастью, а отец его, Илья Фальтер, был всего лишь старшим поваром у Менара, повар ваш Илья на боку. Ангел мой, ангел мой, может быть, и всё наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде «ветчины и вечности» (помнишь?), а настоящий смысл сущего, этой пронзительной фразы, очищенной от странных, сонных, маскарадных толкований, теперь звучит так чисто и сладко, что тебе, ангел, смешно, как это мы могли сон принимать всерьез (мы-то, впрочем, с тобой догадывались, почему всё рассыпается от прикосновения исподтишка: слова, житейские правила, системы, личности, — так что, знаешь, я думаю, что смех это какая-то потерянная в мире случайная обезьянка истины).

И вот я увидел его опять после двадцатилетнего что ли перерыва, и оказалось, что я правильно делал,

когда приближаясь к гостинице, трактовал все ее классические прикрасы, — кедр, эвкалипт, банан, терракотовый теннис, автомобильный загон за газоном, — как церемониал счастливой судьбы, как символ тех поправок, которых требует теперь прошлый образ Фальтера. За годы разлуки со мной, вполне нечувствительной для обоих, он из бедного жилистого студента с живыми как ночь глазами и красивым крепким налево наклоненным почерком, превратился в осанистого, довольно полного господина, сохранив при этом и живость взгляда, и красоту крупных рук, но только я бы никогда не узнал его со спины, т. к. вместо толстых гладких, в скобку остриженных волос, виднелась посреди черного пуха коричневая от загара плешь почти иезуитской формы. В шелковой, цвета пареной репы рубашке, с клетчатым галстуком, в широких гриперловых панталонах и пегих туфлях, он показался мне ряженым, но большой нос был всё тот же, и им-то он безошибочно почуял тонкий запах прошлого, когда подойдя я хлопнул его по мускулистому плечу и задал ему мою загадку. Ты стояла чуть поодаль, сдвинув голые лодыжки на кубовых каблучках и сдержанно, с лукавым интересом, оглядывая обстановку громадного пустого в этот час холя, гиппотамовую кожу кресел, строгого стиля бар, английские журналы на стеклянном столе, нарочито простые фрески, изображающие жидкогрудых бронзоватых дев на золотом фоне, одна из которых, с параллельными прядями стилизованных волос, спадающих вдоль ще-

ки, почему-то стояла на одном колене. Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты когда-нибудь перестанет ее видеть? Ангел мой... Пока что, приняв мои руки в свои, сжимая их, морща переносицу и вглядываясь в меня темными прищуренными глазами, он выдерживал ту паузу, прерывающую жизнь, которую выдерживает собирающийся чихнуть, совсем еще зная, удастся ли это, — но вот удалось, вспыхнуло прошлое, и он громко назвал меня по имени. Он поцеловал твою ручку, не наклоня головы, и благожелательно засуетясь, явно наслаждаясь тем, что я, бывший человек, теперь застал его в полном блеске той жизни, которую он сам создал силой своей ваятельской воли, усадил нас на террасе, заказал коктейли и завтрак, познакомил нас со своим зятем, интеллигентным человеком в темном партикулярном платье, странно отличавшемся от экзотического франтовства самого Фальтера. Мы попили, поели, поговорили о прошлом, как о тяжело больном, мне удалось сбалансировать нож на спинке вилки, ты приласкала чудную нервную собаку, явно боявшуюся хозяина, — и после минуты молчания, среди которого Фальтер вдруг отчетливо сказал «Да», словно кончая консилиум, расстались, пообещав друг другу то, что ни он, ни я не собирались сдерживать.

Ты ничего не нашла замечательного в нем, неправда ли? И точно, ух как заезжен этот тип, в серой молодости содержавший спившегося отца при помощи уроков, а затем медленно, упрямо и бодро добив-

шийся благосостояния, ибо кроме не очень доходной гостиницы у него были винноторговые дела, шедшие весьма успешно. Но как я потом понял, ты была неправа, когда говорила, что это скучновато, что от таких энергичных удачников всегда несет потом. Нет, теперь я безумно завидую основной черте бывшего Фальтера, точности и крепости его «волевой субстанции», как, помнишь, совсем по другому поводу выражался бедный Адольф. Сидел ли он в окопе или в канцелярии, спешил ли на поезд, вставал ли в темное утро в нетопленной комнате, налаживал ли деловые связи, преследовал ли кого-нибудь дружбой или враждой, он не только всегда владел всеми своими способностями не только всегда жил со взведенным курком, но всегда был уверен, что сегодняшней и завтрашней, и всей череды постепенных своих целей он добьется непременно, и притом работал экономно, ибо метил невысоко и точно знал границу своих возможностей. Его главная заслуга перед собой та, что он сознательно обходил собственные таланты, делая ставку на дюжинное, общепринятое, а ведь он был одарен странными, чем-то обаятельными способностями, которые другой, менее осмотрительный, постарался бы практически применить. Пожалуй, только еще в самой молодости он не всегда умел сдержаться и мешал казенное натаскивание гимназиста по казенному предмету с необыкновенно изящными проявлениями математической мысли, оставлявшими в моей классной какой-то холодок поэзии, когда он, спеша, уходил. Я с за-

вистью думаю, что, обладай я крепостью его нервов, упругостью души, сгущенностью воли, он бы теперь мне передал сущность нечеловеческого открытия сделанного недавно им, т. е. не боялся бы что его сообщение меня раздавит; я же со своей стороны был бы достаточно упорен, чтобы заставить его всё сказать до конца.

С набережной сипловато и деликатно кто-то меня окликнул, но так как со дня нашего завтрака с Фальтером прошло больше года, я не сразу узнал в человеке, бросившем на мои камни тень, его смиренного зятя. Из машинальной вежливости я поднялся к нему на панель, и он выразил мне свое болезненное, соболинное: случайно-де заглянул в мой пансион, где добрые люди не только сообщили ему о твоей смерти, но издали указали ему на мою фигуру среди пустого пляжа — фигуру, ставшую некоторого рода достопримечательностью (мне на минуту стало стыдно, что горб моего горя виден со всех террас).

— Мы познакомились у Адама Ильича, — сказал он, показывая корешки резцов и занимая свое место в моем вялом сознании. Я должно быть что-то спросил про Фальтера.

— Как, вы разве не знаете? — удивился болтун, и тогда-то я узнал всю историю.

Как-то прошлой осенью Фальтер отправился по делу в винограденейший из приморских городов, и, как

обыкновенно, остановился в тихом маленьком отеле, хозяин которого был его давним должником. Надо себе представить этот отель, расположенный под перистой мышкой холма, поросшего мимозником, и неполностью застроенную улочку с полдюжиной каменных дачек, где пели радиолы в небольшом человеческом пространстве между млечным путем и олеандровой дремой, и пустыри, где вырабатывали свой ночной цинк кузнечики, и растворенное окно Фальтера в третьем этаже. Проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на Бульваре Взаимности, он, в отличном настроении, с ясной головой и легкими чреслами, вернулся около одиннадцати в отельчик, и сразу поднялся к себе. Пепельное от звезд чело ночи, тихо-безумное ее выражение, роение огней в старом городе, забавная математическая задача, по поводу которой он в прошлом году переписывался со шведским ученым, сухой и сладкий запах, как бы сидящий без мысли и дела там и сям в ямах мрака, метафизический вкус удачно купленного и перепроданного вина, на-днях полученное из далекого, мало соблазнительного государства известие о смерти единоутробной сестры, образ которой давно увял в памяти, — всё это, мне так представляется, плыло в сознании у Фальтера, пока он шел по улице и потом поднимался к себе, и хотя в отдельности эти мысли и впечатления ничуть не были какими либо новыми или особенными для этого крепконосого, несовсем заурядного, но поверженного человека (ибо по своей человеческой

сути мы делимся на профессионалов и любителей, — Фальтер, как и я, был любитель), они в своей совокупности образовали быть может наиболее благоприятную среду для вспышки, для катастрофической, как главный выигрыш, чудовищно случайной, никак не предсказанной обиходом его рассудка, сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле.

Минуло около получаса со времени его возвращения, когда собранный сон небольшого белого дома, едва зыблившийся антикомариным крепом да ползучим цветком, был внезапно — нет, не нарушен, а, разъят, расколот, взорван звуками, оставшимися незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки. То были не свинные вопли неженки, торопливыми злодеями убиваемого в канаве, и не рев раненого солдата, которого озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье Раон, *hôtelier*, то, пожалуй, они скорее всего напоминали захлебывающиеся, почти ликующие крики бесконечно тяжело рожающей женщины, но женщины с мужским голосом и с великаном во чреве. Трудно было разобрать, какая главенствовала нота среди этой бури разрывавшей человеческую гортань — боль, или страх, или труба безумия, или же, и последнее вернее всего, выражение чувства неведомого, и оно-то наделяло вой, вырывавшийся из комнаты Фальтера чем-то что возбуждало в слушателях паническое желание немед-

ленно это прервать. Молодожены в ближайшей постели остановились, параллельно скосив глаза и затаив дыхание, голландец, живший внизу, выкатился в сад, где уже находились экономка и восемнадцать белевших горничных (всего две, размноженные перебежками). Хозяин, сохранивший по его словам полное присутствие духа, кинулся наверх и удостоверился, что дверь, за которой продолжался ураган криков, столь мощный, что против него было трудно идти, снутри заперта и не открывается ни на стук, ни на слово. Оружий Фальтер (поскольку можно было догадываться, что орет именно он, — его отворенное окно было темно, а невыносимые звуки, исходившие оттуда, не носили печати чьей-либо личности), распространялся далеко за пределы дома, и в окрестной черноте набирались соседи, у одного негодяя было пять карт в руке, все козыри. Теперь уже совсем нельзя было постигнуть, как могли чьи бы то ни было связки выдержать... по одним сведениям Фальтер кричал около четверти часа, по другим, пожалуй более достоверным, минут пять подряд. Вдруг (покамест хозяин решал вопрос, взломать ли общими усилиями дверь, приставить ли лестницу извне, или вызвать полицию), крики, достигнув последнего предела муки, ужаса, изумления и того, что никак нельзя было определить, превратились в какое-то месиво стонов и оборвались. Настала такая тишина, что в первую минуту присутствующие переговаривались шопотом.

На всякий случай хозяин опять постучал в дверь,

из-за нее донеслись вздохи, неверные шаги, потом стало слышно, как кто-то теребит замок, словно не умея отпереть. Слабый, мягкий кулак зашмякал изнутри. Тогда хозяин сделал то, что, собственно говоря, мог бы сделать гораздо раньше: нашел другой подходящий ключ и отпер.

— Света бы, — тихо сказал Фальтер в темноте. Мельком подумав, что он во время припадка разбил лампу, хозяин машинально проверил выключатель... но послушно отверзся свет, и Фальтер, мигая, с болезненным удивлением перебежал глазами от руки давшей свет к налившейся стеклянной груше, точно вперые видел, как это делается.

Странная, противная перемена произошла во всей его внешности: казалось, из него вынули костяк. Потное и теперь как бы обрюзгшее лицо с отвисшей губой и розовыми глазами выражало не только тупую усталость, но еще облегчение, животное облегчение после чудовищных родов. По пояс обнаженный, в одних пижамных штанах, он стоял, опустив лицо, и тер ладонью одной руки тыльную сторону другой. На естественные вопросы хозяина и жильцов он ничего не ответил, только надул щеки, отстранил подошедших и, выйдя из комнаты, стал обильно мочиться прямо на ступени лестницы. Затем лег на постель и заснул.

Утром хозяин предупредил по телефону его сестру, что Фальтер помешался, и полусонный, вялый, он

был увезен во-свояси. Врач, обычно лечивший у них, предположил наличие ударчика, и прописал соответствующее лечение. Но Фальтер не поправился. Правда, он через некоторое время начал свободно двигаться, и даже иногда посвистывать, и громко говорить оскорбительные вещи, и хватать еду, запрещенную врачом. Перемена, однако, осталась. Это был человек, как бы потерявший всё: уважение к жизни, всякий интерес к деньгам и делам, общепринятые или освященные традиции чувства, житейские навыки, манеры, решительно всё. Его было небезопасно отпускать куда-либо одного, ибо с совершенно поверхностным, быстро забываемым, но обидным для других любопытством, он заговаривал со случайными прохожими, расспрашивал о происхождении шрама на чужом лице или о точном смысле слов, подслушанных в разговоре, не обращенном к нему. Мимоходом он брал с лотка апельсин и ел его с кожей, равнодушной полуулыбкой отвечая на скороговорку его догнавшей торговки. Утомясь или заскучав, он присаживался по-турецки на панель и старался от нечего делать поймать в кулак женский каблук как муху. Однажды он присвоил себе несколько шляп, пять фетровых и две панамы, которые старательно собирал по кафэ, — и были неприятности с полицией.

Его состоянием заинтересовался какой-то известный итальянский психиатр, навещавший кого-то в фальтеровой гостинице. Это был нестарый еще господин, изучавший, как он сам охотно толковал, «дина-

мику душ» и в печатных работах, весьма популярных не в одних научных кругах, доказывавший, что все психические заболевания объяснимы подсознательной памятью о несчастьях предков пациента, и что если больной страдает, скажем, мегаломанией, то для полного его излечения стоит лишь установить, кто из его прадедов был властолюбивым неудачником, и правнучку объяснить, что пращур умер, навсегда успокоившись, хотя в сложных случаях приходилось прибегать чуть ли не к театральному, в костюмах эпохи, действию, изображающему определенный род смерти предка, роль которого давалась пациенту. Эти живые картины так вошли в моду, что профессору пришлось печатно объяснять публике опасность их постановки вне его непосредственного контроля.

Порасспросив сестру Фальтера, итальянец выяснил, что предков своих Фальтеры не знают, их отец, правда, был не прочь напиться пьяным, но так как по теории «болезнь отражает лишь давно прошедшее», как, скажем, народный эпос сублимирует лишь давние дела, подробности о Фальтере-рèге были ему ненужны. Всё же он предложил, что попробует заняться большим, надеясь путем остроумных расспросов добиться от него самого объяснения его состояния, после чего предки выведутся из суммы сами; что такое объяснение существовало, подтверждалось тем, что когда удавалось близким проникнуть в молчание Фальтера он кратко и отстранительно намекал на нечто из

ряда вон выходящее, испытанное им в ту непонятную ночь.

Однажды итальянец уединился с Фальтером в комнате последнего и, так как был сердцевед опытный, в роговых очках и с платочком в грудном карманчике, повидимому, добился от него исчерпывающего ответа о причине его ночных воплей. Вероятно, дело не обошлось без гипнотизма, так как Фальтер потом уверял следователя, что проговорился против воли, и что ему было не по себе. Впрочем он добавил, что всё равно, рано или поздно, произвел бы этот опыт, но что уж наверное никогда его не повторит. Как бы то ни было, бедный автор «Героики Безумия» оказался жертвой Фальтеровой медузы. Так как задушевное свидание между врачом и пациентом неестественно затянулось, сестра Фальтера, вязавшая серый шарф на террасе и уж давно не слышавшая разымчивого, молодецкого или фальшиво-вкрадчивого тенорка, невнятно доносившегося вначале из полукрытого окошка, поднялась к брату, которого она рассматривающим со скучным любопытством рекламную брошюрку с горно-санаторскими видами, вероятно, принесенную врачом, между тем как сам врач, наполовину съехавший с кресла на ковер, с интервалом белья между жилетом и панталонами, лежал, растопырив маленькие ноги и откинув бледно-кофейное лицо, сраженный, как потом выяснилось, разрывом сердца. Деловито вмешавшимся полицейским властям Фальтер отвечал рассеянно и кратко; когда же, нако-

нец, эти приставания ему надоели, он объяснил, что, случайно разгадав «загадку мира», он поддался изощренным увещаниям и поведал ее любознательному собеседнику, который от удивления и помер. Газеты подхватили эту историю, соответственно ее изукрасив, и личность Фальтера, переодетая тибетским мудрецом, в продолжение нескольких дней подкармливала непривередливую хронику.

Но, как ты знаешь, я в те дни газет не читал: ты тогда умирала. Теперь же, выслушав подробный рассказ о Фальтере, я испытал некое весьма сильное и слегка как бы стыдливое желание.

Ты, конечно, понимаешь. В том состоянии, в котором я был, люди без воображения, т. е. лишенные его поддержки и изысканий, обращаются к рекламным волшебникам, к хиромантам в маскарадных тюрбанах, промышленяющим промеж магических дел крысиным ядом или розовой резиной, к жирным, смуглым гадалкам, — но особенно к спиритам, подделывающим неизвестную еще энергию под млечные черты призраков и глупо предметные их выступления. Но я воображением наделен, и потому у меня были две возможности: первая из них была моя работа, мое искусство, утешение моего искусства; вторая заключалась в том, чтобы вдруг взять да поверить, что довольно в сущности обыкновенный, несмотря на «пти же» бывалого ума, и даже чуть вульгарный человек, вроде Фальтера, действительно и окончательно узнал

то, до чего ни один пророк, ни один волшебник никогда-никогда не мог додуматься.

Искусство мое? Ты помнишь, неправда ли, этого странного шведа или датчанина, или исландца, чорт его знает, словом этого длинного, оранжево-загорелого блондина с ресницами старой лошади, который рекомендовался мне «известным писателем» и заказал мне за гонорар, обрадовавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи вроде того, что больше всего в жизни ты любишь «стихи, полевые цветы и иностранные деньги»), заказал мне, говорю я, серию иллюстраций к поэме «Ultima Thule», которую он на своем языке только что написал. О том же, чтобы мне подробно ознакомиться с его манускриптом не могло быть, конечно, речи, так как французский язык, на котором мы мучительно переговаривались, был ему знаком больше по наслышке, и перевести мне свои символы он не мог. Мне удалось понять только, что его герой — какой-то северный король, несчастный и нелюдимый; что в его государстве, в тумане моря, на грустном и далеком острове, развиваются какие-то политические интриги, убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всадника, летит в тумане по вереску... Моим первым blanc et noir он остался доволен, и мы условились о темах остальных рисунков. Так как он не явился через неделю, как обещал, я к нему позвонил в гостиницу и узнал, что он отбыл в Америку.

Я от тебя тогда скрыл исчезновение работодателя, но рисунков не продолжал, да и ты уже была так больна, что не хотелось мне думать о моем золотом пере и кружевной туши. Но когда ты умерла, когда ранние утра и поздние вечера стали особенно невыносимы, я с жалкой болезненной охотой, сознавание которой вызывало у меня самого слезы, продолжал работу, за которой я знал никто не придет, но именно потому она мне казалась кстати, — ее призрачная беспредметная природа, отсутствие цели и вознаграждения, вводила меня в родственную область с той, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель, мое милое, мое такое милое земное творение, за которым никто никуда никогда не придет; а так как всё отвлекало меня, подсовывая мне краску временности взамен графического узора вечности, муча меня твоими следами на пляже, камнями на пляже, твоей синей тенью на ужасном солнечном пляже, я решил вернуться в Париж, чтобы по-настоящему засесть за работу. «Ultima Thule», остров, родившийся в пустынном и тусклом море моей тоски по тебе, меня теперь привлекал, как некое отечество моих наименее выразимых мыслей.

Однако, прежде чем оставить юг, я должен был непременно повидать Фальтера. Это была вторая помощь, которую я придумал себе. Мне удалось себя убедить, что он всё-таки не просто сумасшедший, что он не только верит в открытие, сделанное им, но что именно это открытие — источник его сумасшествия,

а не наоборот. Я узнал, что на осень он переехал в наши места. Я узнал также, что его здоровье слабо, что пыл жизни, угасший в нем, оставил его тело без пристрастия и без поощрения; что, вероятно, он скоро умрет. Я узнал, наконец, и это мне было особенно важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он стал необыкновенно разговорчив и целыми днями угощает посетителей — а к нему, увы, проникали другого рода любопытные, чем я, — придирчивыми к механике человеческой мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовскими разговорами. Я предложил, что посетю его, но его зять мне ответил, что бедняге приятно всякое развлечение, и что он достаточно силен, чтобы добраться до моего дома.

И вот они явились, т. е. этот самый зять в своем неизменном черном костюмчике, его жена (рослая, молчаливая женщина, крепостью и отчетливостью телосложения напоминавшая прежний облик брата и теперь как бы служившая ему житейским укором, смежной нравоучительной картинкой) и сам Фальтер... вид которого меня поразил, несмотря на то, что я был к перемене подготовлен. Как бы это выразить? Зять говорил, что из Фальтера словно извлекли скелет; мне же показалось иначе, что вынули душу, но зато удесятерили в нем дух. Я хочу этим сказать, что одного взгляда на Фальтера было довольно, чтобы понять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождешься, что любить кого-

нибудь, жалеть, даже только самого себя, благоволить к чужой душе и ей сострадать при случае, посылить и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы, — всему этому Фальтер совершенно разучился, как разучился здороваться или пользоваться платком. А вместе с тем он не производил впечатления умалишенного — о нет, совсем напротив! — в его странно рассыревших чертах, в неприятном сытом взгляде, даже в плоских ногах, обутих уже не в модные башмаки, а в дешевые провансальские туфли на веревочных подошвах, чужаясь какая-то сосредоточенная сила, и этой силе не было никакого дела до дряблости и явной тленности тела, которым она безглаголиво руководила.

В личном отношении ко мне он был теперь не таков, как во время последней короткой нашей встречи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомневаюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смысле с тех пор прошло почти четверть века, а всё же, как бы вместе с душой потеряв чувство времени (без которого *душа* не может жить), он не столько на словах, а в рассуждении всей манеры, явно относился ко мне так, как если бы всё это было вчера — и вместе с тем ни малейшей симпатии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки.

Его усадили в кресло, и он странно развалился в нем, как рассаживается шимпанзе, которого сторож заставляет пародировать сибарита. Его сестра заня-

лась вязанием и во всё время разговора ни разу не приподняла седой стриженной головы. Ее муж вынул из кармана две газеты, местную и марсельскую, и тоже онемел. Только когда Фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил, где же ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил:

— Вы же отлично знаете, что она умерла.

— Ах да, — заметил Фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне, добавил: — Что же, царствие ей небесное, — так кажется полагается в обществе говорить?

Затем началась следующая между нами беседа; я записал ее по памяти, но кажется верно:

— Мне хотелось вас повидать, Фальтер, — сказал я (называя его на самом деле по имени-отчеству, но, при переносе, его вневременный образ не терпит этого прикрепления человека к определенной стране и кровному прошлому) — мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас оставить вдвоем...

— Они не в счет, — отрывисто заметил Фальтер.

— Под откровенностью, — продолжал я, — мной подразумевается взаимная возможность задавать любые вопросы и готовность отвечать на них. Но так как

вопросы буду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то всё зависит от того, даете ли вы мне гарантию вашей прямоты; моя вам не требуется.

— На прямой вопрос отвечу прямо, — сказал Фальтер.

— В таком случае позвольте бить в лоб. Мы попросим ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу.

— Вот тебе раз, — проговорил Фальтер.

— Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от вашего сообщения не умру, — ручаюсь; вы не смотрите, что у меня усталый невзрачный вид, сил найдется достаточно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при себе и даже, если хотите, застрелиться тотчас после вашего сообщения. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам может быть еще неприятнее, чем моя смерть. Ну так как же, согласны?

— Решительно отказываюсь, — ответил Фальтер и скинул со стоявшего рядом с ним столика мешавшую ему облокотиться книгу.

— Ради того, чтобы как-нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей.

— После чего точка, — вставил Фальтер.

— Согласен: вы мне ее не скажете; всё же я делаю два важных вывода: у вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму.

Фальтер улыбнулся:

— Только не называйте это выводами, синьор. Это так — полустанки. Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения, но круглота земли, увы, отражена и в логике: при идеально последовательном продвижении мысли вы вернетесь к отправной точке... с сознанием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь? Ограничьтесь этим положением — открылась сущность вещей, — в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объяснить ее вам не могу, так как малейший намек на объяснение уже был бы проблеском. При неподвижности положения ошибка незаметна. Но всё, что вы зовете выводом, уже вскрывает порок: развитие роковым образом становится свитком.

— Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь позвольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он проверяет выкладкой и испытанием, т. е. мимикрией правды и ее пантомимой. Ее правдоподобие заражает других, и гипотеза почитается истинным объяснением данного явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных, или отставных мыслей:

а ведь каждая когда-то ходила в чинах; осталась слава или пенсия. В вашем же случае, Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его — откровением?

— Нельзя, — сказал Фальтер.

— Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней.

— Видите ли, отвечал Фальтер — в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ: в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел. Но может быть проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, — математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своем размножении, — я комбинировал различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как Берггольд Шварц. Я выжил; может быть, выжил бы и другой на моем месте. Но после случая с моим прелестным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией.

— Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернемся к главному: что именно вам говорит, что это есть истина? Обезьяна чужда жребию.

— Истин, теней истин, — сказал Фальтер, — на свете так мало, — в смысле видов, а не особей, разумеется, — а те, что на лицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы сказать... *отдача* при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа — явление мало знакомое, мало изученное. Ну, еще там у детей... когда ребенок просыпается или приходит в себя после скарлатины... электрический разряд действительности, сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет. Возьмите любой трюизм, т. е. труп сравнительной истины. Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова: черное темнее коричневого, или лед холоден. Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы всё тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль, или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных, — не это есть настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы разом отвечают «да» — так, что ли. Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения *предмета* истины, не ее самой. Если вы мне скажете, что такой-то — вор, то я, немедленно соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам

наблюдал, всё же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник, но истина уже мною незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает обратный образ (как это такого явного мошенника можно было считать честным); другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым.

— Так. Это всё довольно ясно.

— Удивление же, доведенное до потрясающих, невообразимых размеров, — продолжал Фальтер, — может подействовать крайне болезненно, и всё же оно ничто в сравнении с самим ударом истины. И этого уже не «впитаешь». Она меня не убила случайно — столь же случайно, как грянула в меня. Сомневаюсь, что при такой силе ощущения можно было бы думать о его проверке. Но пост-фактум такая проверка может быть осуществлена, хотя в ее механике я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую проходную правду, скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой; заключено ли в этом утверждении то, что лед горяч, или что в Канаде есть камни? Иначе говоря, данная истинка никаких других родовых истиннок не содержит, а тем менее таких, которые принадлежали бы к другим породам и плоскостям знания или мышления. Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? Можно верить в

поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то ни другое не предопределяет веры в гомеопатию или в необходимость истреблять антилоп на островках озера Виктории Ньянджи; но узнав то, что я узнал — если можно это назвать узнаванием, — я получил ключ решительно ко всем дверям и шкапулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крышек. Я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия, т. е. в какой мере я еще не сошел с ума, или, напротив, как далеко оставил за собой всё, что понимается под помешательством, — но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, «открылась суть». Воды, пожалуйста.

— Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я понял вас? Неужели вы отныне кандидат всепознания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное, но в ваших словах нет конкретных признаков абсолютной мудрости.

— Берегу силы, — сказал Фальтер. — Да я и не утверждал, что теперь знаю всё, — например, арабский язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал строки вон в той газете, которую читает мой дурак-зять. Я только говорю, что знаю всё, что мог бы узнать. То же может сказать всякий, просмотрев энциклопедию, неправда ли, но только энциклопе-

дия, точное заглавие которой я узнал (вот, кстати, даю вам более изящный термин: я знаю заглавие вещей), действительно всеобъемлющая — и вот в этом разница между мною и самым сведущим человеком. Видите ли, я узнал — и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, дамы не смотрите, я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть ее чудовищной. Когда я сейчас скажу «соответствует», я под соответствием буду разуметь нечто бесконечно далекое от всех соответствий, вам известных, точно так же как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов: итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил. Вместе с тем возможное знание всех вещей, вытекающее из знания главной, не располагает во мне достаточно прочным аппаратом. Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления как будто ничего не случилось, т. е. поступаю, как бедняк, получивший миллион, а продолжающий жить в подвале, ибо он знает, что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень.

— Но сокровище есть у вас, Фальтер, — вот что мучительно. Оставим же рассуждения о вашем к нему отношении и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною

к сведению, а кроме того я готов не делать даже самых очевидных заключений, потому что, как вы намекаете, всякое логическое заключение есть заключение мысли в себе. Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов: я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы не выдадите его тайны, если скажете мне, лежит ли оно на востоке, или есть ли в нем хоть один топаз, или прошел ли хоть один человек в соседстве от него. При этом если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор.

— Теоретически вы увлекаете меня в грубую ловушку, — сказал Фальтер, слегка затрясаясь, как если б смеялся. — На практике же это есть ловушка, лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я мог бы ответить простым да или нет. Таких шансов весьма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, — пожалуйста, валяйте:

Я подумал и сказал:

— Позвольте мне, Фальтер, начать так, как начинает традиционный турист, с осмотра старинной церкви, известной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас: существует ли Бог?

— Холодно, — сказал Фальтер.

Я не понял и переспросил:

— Бросьте, — огрызнулся Фальтер. — Я сказал «холодно», как говорится в игре, когда требуется найти запрятанный предмет. Если вы ищете под стулом или под тенью стула, и предмета там быть не может, потому что он просто в другом месте, то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Сказать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует, т. е. вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг.

— Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, а искомое это есть по вашей терминологии «заглавное», то следовательно понятие о Боге не есть заглавное, а если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии, и раз нет нужды в Боге, то и Бога нет.

— Значит, вы не поняли моих слов о соотношении между возможным местом и невозможностью в нем нахождения предмета. Хорошо, скажу вам яснее. Тем, что вы упомянули о данном понятии, вы себя самого поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался сам. Тем же, что вы упорствуете в своем вопросе, вы не только сами прячетесь, но еще верите, что, разделяя с искомым предметом свойство «спрятанности», вы его приближаете к себе. Как я могу вам ответить, есть ли Бог, когда речь, может быть, идет

о сладком горошке или футбольных флажках? Вы не там и не так ищете, шер мосье, вот всё, что я могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, то так получается именно потому, что вы не там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически?

— Сейчас поймаю и вас, Фальтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавия мира в иероглифах божества?

— Простите, — ответил Фальтер. — Посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое да. Я сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность искания истины в области общепринятой теологии, — а во избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употребленный мной эпитет — тупик. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор *за неимением собеседника*, если вы воскликнете «Ага, есть *другая* истина!» — ибо это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя.

— Хорошо. Поверю вам. Допустим, что теология засоряет вопрос. Так, Фальтер?.

— Барыня прислала сто рублей, — сказал Фальтер.

— Ладно, оставим и этот неправильный путь. Хо-

тя вероятно вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен (ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться), и тогда мне было бы ясно ваше нежелание отвечать?

— Мог бы, — сказал Фальтер, — но это было бы равносильно раскрытию сути, т. е. как раз тому, чего вы от меня не добьетесь.

— Вы повторяетесь, Фальтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь.

— Вам это очень интересно?

— Так же, как и вам, Фальтер. Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны.

— Во-первых, — сказал Фальтер, — обратите внимание на следующий любопытный подвох; всякий человек смертен; вы (или я) — человек; значит, вы может быть и *не смертны*. Почему? Да потому что выбранный человек тем самым уже перестает быть *всяким*. Вместе с тем мы с вами всё-таки смертны, но я смертен иначе, чем вы.

— Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто, есть ли хоть подобие существования личности за гробом, или всё кончается идеальной тьмой.

— Вон, — сказал Фальтер по привычке русских во Франции. — Вы хотите знать, вечно ли господин Синеусов будет пребывать в уюте господина Синеусова,

или же всё вдруг исчезнет? Тут есть две мысли, неправда ли? Перманентное освещение и черная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг на друга похожи. При этом они движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализатор! У-тю-тю, смотрите в бинокль, они у вас бегут наперегонки, и вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины, но тем, что вы требуете от меня ответа, да или нет, на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на всем бегу поймал за шиворот — а шиворот у бесенят скользкий, — но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязание, или добежала бы другая, не схваченная мной, в чем не было бы никакого прока в виду прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же: что скорее бежит — сильное желание или сильная боязнь?

— Думаю, что одинаково.

— То-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении человечинки, — либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, т. е. нас, за смертью, и тогда полное беспомощество исключается, — ведь оно-то вполне доступно нашему воображению, — каждый из нас испытал полную тьму крепкого сна; либо, наоборот, — представить себе смерть можно, и тогда естественно выбирает рассудок не вечную жизнь, т. е. нечто само по себе неведомое, ни с чем земным несообразное, а именно

наиболее вероятное — знакомую тьму. Ибо как же в самом деле может человек, доверяющий своему рассудку допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней причины, т. е. случайно лишившийся того, чем в сущности он уже не обладал, как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния? Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно — известно ли мне по-человечески то, что находится за смертью, т. е. попытались бы предотвратить обреченное на нелепость состязание двух противоположных, но в сущности одинаковых представлений, из моего отрицания вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь небытием не может кончиться, а из моего утверждения вывели бы заключение обратное. И в том и в другом случае, как видите, вы бы остались точно в таком же положении как были всегда, ибо сухое не доказало бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете, а влажное да предложило бы вам принять существование международных небес, в котором ваш рассудок не может не сомневаться.

— Вы просто увиливаете от прямого ответа, но позвольте мне всё-таки заметить, что в разговоре о смерти вы не отвечаете мне: холодно.

— Вот вы опять, — вздохнул Фальтер. — Но я же вам только что объяснял, что всякий вывод следу-

ет кривизне мышления. Он по-земному правилен, покуда вы остаетесь в области земных величин, но когда вы пытаетесь забраться дальше, то ошибка растет по мере пути. Мало того: ваш разум воспримет всякий мой ответ исключительно с прикладной точки, ибо иначе чем в образе собственного креста вы смерть мыслить не можете, а это в свою очередь так извратит смысл моего ответа, что он тем самым станет ложью. Будем же соблюдать пристойность и в трансцендентальном. Яснее выразиться не могу — и скажите мне спасибо за увиливание. Вы догадываетесь, я полагаю, что тут есть одна загвоздка в самой постановке вопроса, загвоздка, которая, кстати сказать, страшнее самого страха смерти. Он у вас повидимому особенно силен, не так ли?

— Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мысли о своем будущем беспаятстве, равен только отвращению перед умозрительным тленом моего тела.

— Хорошо сказано. Вероятно налицо и прочие симптомы этой подлунной болезни? Тупой укол в сердце, вдруг среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних чувств и ручных мыслей: ведь я когда-нибудь... Правда, это бывает у вас? Ненависть к миру, который будет очень бодро продолжаться без вас... Коренное ощущение, что всё в мире пустяки и призраки по сравнению с вашей предсмертной мукой, а значит и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себе, жизнь и есть предсмертная мука... Да, да, я вполне себе представляю болезнь, которой вы все страдаете

в той или другой мере, и одно могу сказать: не понимаю, как люди могут жить при таких условиях.

— Ну вот, Фальтер, мы кажется договорились. Выходит так, что если я признался бы в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души, я вдруг чувствую, что небытия за гробом нет; что рядом, в запертой комнате, из-под двери которой дует стужей, готовится, как в детстве, многоочитое сияние, пирамида утех; что жизнь, родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса, — всё только путаное предисловие, а главное впереди; выходит, что если я так чувствую, Фальтер, можно жить, можно жить, — скажите мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу.

— В таком случае, — сказал Фальтер, опять затрясаясь, — я еще менее понимаю. Перескочите предисловие, — и дело в шляпе!

— Un bon mouvement, Фальтер, скажите мне вашу тайну.

— Это что же, хотите взять врасплох? Какой вы. Нет, об этом не может быть речи. В первое время... Да, в первое время мне казалось, что можно попробовать... поделиться. Взрослый человек, если только он не такой бык как я, не выдерживает, допустим, но думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение *знающих*, т. е. не обратиться ли к детям. Как видите, я не сразу справился с заразой местной диалектики. Но на деле что же бы получилось? Во-первых, едва ли

мыслимо связать ребят порукой жреческого молчания, так, чтобы ни один из них мечтательным словом не совершил убийства. Во-вторых, как только ребенок разовьется, сообщенное ему когда-то, принятое на веру и заснувшее на задворках сознания, дрогнет и проснется с трагическими последствиями. Если тайна моя не всегда бьет матерого сапыенса, то никакого юноши, она, конечно, не пощадит. Ибо кому незнакомо то время жизни, когда всякая всячина — звездное небо в Эссентуках, книга, прочитанная в клозете, собственные догадки о мире, сладкий ужас солипсизма — и так доводит молодую человеческую особь до исступления всех чувств. В палачи мне идти незачем; вражеских полков истреблять через мегафон не собираюсь... словом, довериться мне некому.

— Я задал вам два вопроса, Фальтер, и вы дважды доказали мне невозможность ответа. Мне кажется, было бы бесполезно спрашивать вас о чем-либо еще, скажем, о пределах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне предложили бы, вероятно, удовлетвориться пестрой минутой на второсортной планете, обслуживаемой второсортным солнцем, или опять всё свели бы к загадке: гетерологично ли самое слово «гетерологично».

— Вероятно, — подтвердил Фальтер и протяжно зевнул.

Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой.

— Но вот что странно, Фальтер. Как совмещается в вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадного софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы лишь изощренное зубоскальство?

— Что же, это моя единственная защита, — сказал Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивала длинный серый шерстяной шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему зятем. — Иначе, знаете, вы бы добились... Впрочем, — добавил он, не той, потом той рукой влезая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, — впрочем, если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утешить: среди всякого вранья я нечаянно проговорился, — всего два-три слова, но в них промелькнул краешек истины, — да вы по счастью не обратили внимания.

Его увели, и тем окончился наш довольно-таки дьявольский диалог. Фальтер не только ничего мне не сказал, но даже не дал мне подступиться, и, вероятно, его последнее слово было такой же издевкой, как и все предыдущие. На другой день скучный голос его зятя сообщил мне по телефону, что за визит Фальтер берет сто франков; я спросил, почему, собственно, меня не предупредили об этом, и он тотчас ответил, что, в случае повторения сеанса, два разговора мне обойдутся всего в полтораста. Покупка истины, даже со скидкой, меня не прельщала и, отослав ему свой не-

предвиденный долг, я заставил себя не думать больше о Фальтере. Но вчера... да, вчера, я получил от него самого записку — из госпиталя: четко пишет, что во вторник умрет, и что на прощание решается мне сообщить, что — тут следует две строчки, старательно и как бы иронически вымаранные. Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных загробных впечатлений и приятного препровождения вечности.

Но всё это не приближает меня к тебе, мой ангел. На всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений. Страшнее всего мысль, что поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бранный состав единственный, быть может, залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на свое же многоточие...

Париж, 1939 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Весна в Фиальте	5
Круг	37
Королек	55
Тяжелый дым	73
Памяти Л. И. Шигаева	85
Посещение музея	99
Набор	117
Лик	127
Истребление тиранов	163
Василий Шишков	203
Адмиралтейская игла	215
Облако, озеро, башня	233
Уста к устам	249
Ultima Thule	271

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
142 E. 32nd Street
New York 16, N.Y.



ВЛАДИМИР НАБОКОВ

МАШЕНЬКА (1926) . Ардис, 1974.

ПОДВИГ (1932) . Ардис, 1974.

ДАР (1937-52) . Ардис, 1975.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА (1929) . Ардис, 1976.

ЛОЛИТА (1967) . Ардис, 1976.

СОГЛЯДАТАЙ (1938) . Ардис, 1978.

ДРУГИЕ БЕРЕГА (1954) . Ардис, 1978.

ОТЧАЯНИЕ (1936) . Ардис, 1978.

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ (1956) . Ардис, 1978.

КАМЕРА ОБСКУРА (1932) . Ардис, 1978.

СТИХИ. Ардис, 1978.